



ОДИССЕЙ

2006



2006 * ОДИССЕЙ

Феодализм перед судом
историков

«Устранение необоснованного
многообразия»...

Майстер Экхарт
и Григорий Палама

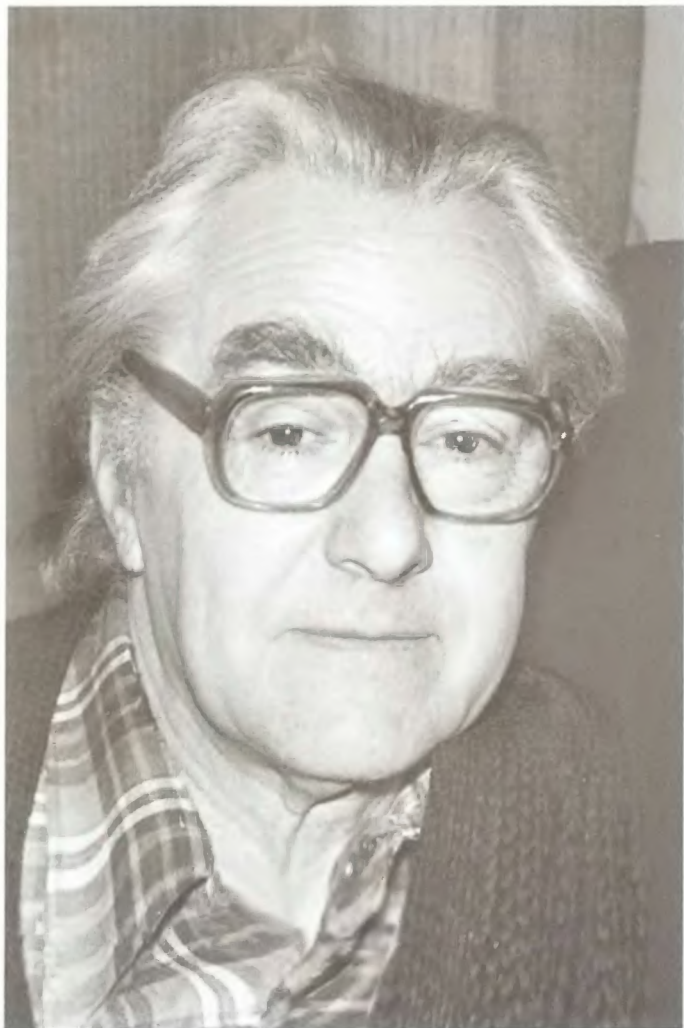
Семиотика «дедовщины»

Житие Святого Патрика: взгляд
из VII века

Культ Фрейра в Швеции

НАУКА





Арон Яковлевич
ГУРЕВИЧ
(1924–2006)

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF UNIVERSAL HISTORY



ODYSSEUS

Man in History

*Feudalism
on Historians' Trial*

2006



MOSCOW NAUKA 2006

ОДИССЕЙ

Человек в истории

Феодализм
перед судом историков

2006



МОСКВА НАУКА 2006

Издание основано в 1989 году

Главный редактор **А.Я. ГУРЕВИЧ**

Редакционная коллегия:

М.Л. АНДРЕЕВ, Л.М. БАТКИН,
Г.В. БОНДАРЕНКО (ответственный секретарь),
Б.С. КАГАНОВИЧ, С.И. ЛУЧИЦКАЯ (зам. главного редактора),
В.Н. МАЛОВ, С.В. ОБОЛЕНСКАЯ, М.Ю. ПАРАМОНОВА, А.В. ТОЛСТИКОВ,
П.Ю. УВАРОВ, Д.Э. ХАРИТОНОВИЧ, А.Л. ЯСТРЕБИЦКАЯ

Секретарь редакции **И.Г. ГАЛКОВА**

Редакционный совет:

Ю.Н. АФАНАСЬЕВ, ВОЙЦЕХ ВЖОЗЕК, НАТАЛИ ЗЕМОН ДЭВИС,
Вяч. Вс. ИВАНОВ, ЖАК ЛЕ ГОФФ, Е.М. МЕЛЕТинский,
В.И. УКОЛОВА, А.О. ЧУБАРЬЯН

Рецензенты:

доктор исторических наук **С.Г. КАРПЮК,**
кандидат исторических наук **А.С. КЛЕМЕШОВ**

Одиссей : человек в истории / Ин-т всеобщ. истории. – М. : Наука, 1989. –

2006 : Феодализм перед судом историков [гл. ред. А.Я. Гуревич]. – 2006. – 493 с. – ISBN 5-02-034005-7.

Главная тема выпуска – концепция феодализма с точки зрения современной исторической науки. Публикуются статьи по истории этого понятия и сравнительно-исторические исследования, в том числе А.Я. Гуревича “О средневековой крестьянской цивилизации”. В разделе “Культурная история социального” анализируются социальные аспекты нормирования языка в Германии; феномен насилия в российской армии рассматривается сквозь призму семиотического подхода. Внимание читателей привлекут статья о европейскости России и публикации “Жития святого Патрика” и “Пряди об Эгмунте Битом”.

Для историков, историков культуры, студентов, специалистов-гуманитариев и широкого круга читателей.

Темплан 2006-I-307

ISBN 5-02-034005-7 © Институт всеобщей истории РАН, 2006

© Коллектив авторов, 2006

© Российская академия наук и Издательство “Наука”, продолжающееся издание “Одиссей. Человек в истории” (разработка, оформление), 1995 (год основания), 2006

© Редакционно-издательское оформление. Издательство “Наука”, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

ФЕОДАЛИЗМ ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИКОВ

<i>П.Ю. Уваров</i> В ПОИСКАХ ФЕОДАЛИЗМА	5
<i>А.Я. Гуревич</i> ФЕОДАЛИЗМ ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИКОВ, ИЛИ О СРЕДНЕВЕКОВОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ	11
<i>И.В. Дубровский</i> КАК Я ПОНИМАЮ ФЕОДАЛИЗМ	50
<i>Л.А. Пименова</i> ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О “ФЕОДАЛЬНОМ” В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ФРАНЦИИ XVIII в.	63
<i>А. Герро</i> ФЬЕФ, ФЕОДАЛЬНОСТЬ, ФЕОДАЛИЗМ. СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ И ИСТОРИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ	77
<i>Н.А. Селунская</i> “СЕНЬОРИЯ, ОБЩИНА И ВАССАЛИТЕТ ПРОСТОЛЮДИНОВ”, ИЛИ “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ РЕЙНОЛЬДС”	114
<i>П.В. Лукин</i> ПРАЗДНИК, ПИР И ВЕЧЕ: К ВОПРОСУ ОБ АРХАИЧЕСКИХ ЧЕРТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН.....	134
<i>П.С. Стефанович</i> БОЯРСКАЯ СЛУЖБА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ	151
<i>В.Я. Петрухин</i> ФЕОДАЛИЗМ ПЕРЕД СУДОМ РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ	161
<i>П.Ю. Уваров</i> ФЕОДАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ	171
<i>А.Я. Гуревич</i> POST SCRIPTUM: PEASANT SOCIETY И ПРОФЕССОР КРИС УИКХЕМ	184

КУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО*И.Е. Суриков*

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ ДРАКОНТА И СОЛОНА: РЕЛИГИЯ, ПРАВО И ФОРМИРОВАНИЕ АФИНСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБЩИНЫ	201
--	-----

К.А. Левинсон

“УСТРАНЕНИЕ НЕОБОСНОВАННОГО МНОГООБРАЗИЯ”: НОРМИРОВАНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ В ГЕРМАНИИ XIX В. И ЕГО ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТЕКСТ	221
--	-----

К.Л. Банников

“ПОТОМУ ЧТО АБСУРДНО”: СЕМИОТИКА НАСИЛИЯ В МЕТАМОРФОЗАХ СОЦИОГЕНЕЗА	261
---	-----

А.Г. Левинсон

ГОСЗАКАЗ НА ДЕДОВЩИНУ: КРАТКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ	279
--	-----

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ*М.Ю. Реутин*

МАЙСТЕР ЭХХАРТ – ГРИГОРИЙ ПАЛАМА (К СОПОСТАВЛЕНИЮ НЕМЕЦКОЙ МИСТИКИ И ВИЗАНТИЙСКОГО ИСИХАЗМА).....	285
---	-----

С.И. Лучицкая

ХРИСТИАНСКО-МУСУЛЬМАНСКАЯ ПОЛЕМИКА ПО ПОВОДУ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЭПОХУ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ	319
--	-----

ПУБЛИКАЦИИ*Г.В. Бондаренко*

МУРЬХУ МОККУ МАХТЕНИ: ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ДРЕВНЕЙ ИРЛАНДИИ И РОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СВЯТОСТИ	351
--	-----

Мурьху мокку Махтени

ЖИТИЕ СВЯТОГО ПАТРИКА (перевод Г.В. Бондаренко и С.В. Шкунаева, комментарии Г.В. Бондаренко)	363
--	-----

Е.А. Гуревич

КУЛЬТ ФРЕЙРА В ШВЕЦИИ. “ПРЯДЬ ОБ ЭГМУНДЕ БИТОМ ИГУННАРЕ ПОПОЛАМ” (перевод, комментарии и статья Е.А. Гуревич)	390
---	-----

ИСТОРИЯ РОССИИ: QUO VADIS?

Б.Н. Миронов

ДИСКУРС О ЕВРОПЕЙСКОСТИ РОССИИ, ИЛИ КОНСТРУИРОВАНИЕ ЕВРОПЫ: ЕВРОПА С РОССИЕЙ ИЛИ БЕЗ?.....	420
--	-----

РЕЦЕНЗИИ И РЕФЕРАТЫ

Л.П. Лаптева

У ИСТОКОВ ТРАГЕДИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

<i>М.А. Робинсон. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 30-х годов). М., 2004</i>	444
---	-----

ЮБИЛЕИ.....	458
-------------	-----

К СТОЛЕТИЮ Леонида Ефимовича ПИНСКОГО	458
---	-----

ПАМЯТИ УШЕДШИХ.....	469
---------------------	-----

Михаил Леонович ГАСПАРОВ (1935–2005).....	469
---	-----

Владимир Николаевич ТОПОРОВ (1928–2005)	471
---	-----

Елеазар Моисеевич МЕЛЕТИНСКИЙ (1918–2005).....	478
--	-----

Арон Яковлевич ГУРЕВИЧ (1924–2006)	480
--	-----

SUMMARIES	481
-----------------	-----

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ.....	487
----------------------------	-----

CONTENTS

FEUDALISM ON HISTORIANS' TRIAL

<i>P.Yu. Uvarov</i> IN SEARCH OF FEUDALISM.....	5
<i>A.Ya. Gurevich</i> FEUDALISM ON HISTORIANS' TRIAL, OR MEDIAEVAL PEASANT CIVILISATION REVISITED.....	11
<i>I.V. Dubrovsky</i> MY PERCEPTION OF FEUDALISM	50
<i>L.A. Pimenova</i> THE DELIBERATIONS ON THE "FEUDAL" IN THE 18TH CENTURY PRE-REVOLUTIONARY FRANCE	63
<i>A. Guerreau</i> FIEF, FEUDALITY, FEUDALISM. SOCIAL ORDER AND HISTORICAL THOUGHT	77
<i>N.A. Selunskaya</i> "SIGNORIA, COMMUNES AND VASSALAGE OF THE BASE-BORN PEOPLE", OR "ASSUMPTION OF S. REYNOLDS' INNOCENCE"	114
<i>P.V. Lukin</i> FESTIVAL, FEAST AND VECH: ON SOME ARCHAIC FEATURES OF WESTERN AND EASTERN SLAVS' SOCIAL ORDER	134
<i>P.S. Stephanovich</i> THE BOYARS' SERVICE IN MEDIAEVAL RUS'	151
<i>V.Ya. Petrukhin</i> FEUDALISM ON TRIAL OF RUSSIAN HISTORIOGRAPHY	161
<i>P.Yu. Uvarov</i> FEUDALISM IN THE 21ST CENTURY	171
<i>A.Ya. Gurevich</i> POST SCRIPTUM: "PEASANT SOCIETY" AND PROFESSOR CHRIS WICKHAM	184

CULTURAL HISTORY OF THE SOCIAL

<i>I.E. Surikov</i> THE LEGISLATIVE REFORMS OF DRAKON AND SOLON: RELIGION, LAW AND THE FORMATION OF ATHENIAN CITIZEN COMMUNITY	201
--	-----

K.A. Levinson

“THE REMOVAL OF THE UNFOUNDED VARIETY”: LANGUAGE NORM
SETTING IN THE 19TH CENTURY GERMANY AND ITS SOCIO-
CULTURAL CONTEXT 221

K.L. Bannikov

QUIA ABSURDUM: THE SEMIOTICS OF VIOLENCE IN THE
METAMORPHOSES OF SOCIOGENESIS 261

A.G. Levinson

THE STATE ORDER FOR *DEDOVSHINA*. A BRIEF REMARK 279

COMPARATIVE HISTORY

M.Yu. Reutin

MEISTER ECKHART AND GREGORY PALAMAS. ON THE SIMILARITY
BETWEEN THE THEOLOGICAL TEACHINGS OF GERMAN MYSTICISM
AND BYZANTINE HESYCHASM 285

S.I. Luchitskaya

CHRISTIAN-MUSLIM IMAGOLOGICAL POLEMICS IN THE TIME OF THE
CRUSADES 319

PUBLICATIONS

G.V. Bondarenko

MUIRCHÚ MOCCU MACHTHENI: CONVERSION TO CHRISTIANITY IN
EARLY IRELAND AND THE BIRTH OF NATIONAL SAINTHOOD 351

Muirchú moccu Machtheni

THE LIFE OF SAINT PATRICK (*translated by G.V. Bondarenko, S.V. Shkunaev,*
notes by G.V. Bondarenko) 363

Ye.A. Gurevich

FREYR'S CULT IN SWEDEN. “THE STORY OF EGMUND THE BEATEN
AND GUNNAR HALF-AND-HALF” (*translation and notes by Ye.A. Gurevich*) 390

HISTORY OF RUSSIA: *QUO VADIS?*

B.N. Mironov

A DISCOURSE ON EUROPEAN FEATURES OF RUSSIA, OR THE
CONSTRUCTION OF EUROPE: EUROPE WITH RUSSIA OR WITHOUT?.... 420

BOOK REVIEWS

L.P. Lapteva

AT THE SOURCES OF RUSSIAN HUMANITARIAN *INTELLEGEN-*
CIA'S TRAGEDY

<i>M.A. Robinson. The Fortunes of Academic Elite: Russian Slavic Studies (1917 – early 1930-s). Moscow, 2004</i>	444
ANNIVERSARIES	458
The 100th Anniversary of Leonid Efimovich PINSKY	458
IN MEMORIAM.....	469
Mikhail Leonovich GASPAROV (1935–2005).....	469
Vladimir Nikolaevich TOPOROV (1928–2005)	471
Yeleazar Moiseevich MELETINSKY (1918–2005).....	478
Aron Yakovlevich GUREVICH (1924–2006).....	480
SUMMARIES	481
SOURCES OF ILLUSTRATIONS.....	487

ФЕОДАЛИЗМ ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИКОВ, ИЛИ О СРЕДНЕВЕКОВОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

I

Что такое “феодализм” с точки зрения современного историка?

Вопреки тому, что можно ожидать от статьи с подобным названием, в мои намерения отнюдь не входит разбор различных концепций феодализма, которые возникали, сосуществовали или противоборствовали в историографии на протяжении XIX и XX вв. Это — особая и, несомненно, любопытная тема, но мне хотелось бы остановиться на некоторых иных проблемах, прямо или косвенно связанных с понятием “феодализм”.

Время от времени я в ходе своих размышлений об этом предмете останавливался в растерянности: каким образом удавалось и все еще удается (удается ли?!) историкам, а равно и социологам, и философам, вопреки глубочайшим переменам, кои пережили мир и, в частности, научная мысль в указанный период, по-прежнему придерживаться давно сложившихся исторических понятий? Разумеется, понятие “феодализм” несколько изменяло свое содержание в зависимости от времени, когда его употребляли, и от того, каковы были философские установки историков и их принадлежность к той или иной национальной школе. И тем не менее многовековая эпоха, отделяющая Античность от Нового времени, “классику” от “модерна”, сколь ни колебались ее хронологические границы, остается прочно связанной с понятием “феодализма”, в котором продолжают видеть политическую, правовую, экономическую и социальную quintэссенцию Средневековья. Средневековье было феодальным по своей сути, и феодализм синонимичен Средневековью — это равенство представляется настолько самоочевидным, что сомнения возникают довольно редко.

Излишне напоминать о том, что понятие “феодализм” с самого начала обладало пейоративной окраской. В нем воплощался комплекс представлений, противоположных понятию “гражданского (буржуазного) общества”. Последнее же, напротив, воплощало сумму качеств положительных. Исторический прогресс привел к упадку и низложению феодализма и, тем самым, утвердил общественную систему, основанную на более цивилизованных формах человеческой организации. Даже после того как отгремели буржуазные революции, в той или иной мере покончившие с феодализмом, лежавшее на нем клеймо регресса и застоя не было упразднено.

Между тем накопление фактического материала и, главное, углубление его анализа естественно и неизбежно приводит исследователей к пересмотру многих конкретных вопросов. И в целом, и в частности феодальное Средневековье выглядит ныне, на рубеже второго и третьего тысячелетий, отнюдь не таким, каким оно виделось предшествующим поколениям. Медиевистами проделана огромная исследовательская работа. В старые мехи постоянно вливается новое вино, но, странным делом, оно мехов не разрывает. Мне кажется, что налицо кричащее противоречие между самыми общими понятиями, употребляемыми поколениями историков, и эмпирическим богатством нашей научной дисциплины. Начиная примерно с середины истекшего века, она, эта дисциплина, пережила и, думается, продолжает переживать подлинную революцию. Эта революция охватила и проблематику исторического исследования, и его конкретную методологию. Взгляд на историческое прошлое, те вопросы, которые ныне мы ему задаем, имеют мало общего с вопрошаниями наших научных дедов и прадедов. Поэтому кажется саморазумеющимся, что новое содержание исторического знания требует отказа от унаследованных от прошлого стереотипов и новой концептуализации.

Ни в коей мере не претендуя на то, чтобы осуществить или хотя бы приступить к осуществлению подобной ревизии, я ограничиваю свою задачу попыткой указать на те трещины, которые образовались в воздвигнутом усилиями медиевистов здании. На этот “подвиг” меня, помимо всего прочего, побуждают уже предпринятые рядом коллег опыты пересмотра понятия “феодального Средневековья”. Разве не симптоматично и даже символично то, что вполне независимо друг от друга отдельные историки разных стран и научных направлений все более энергично высказывают сомнения относительно дальнейшей пригодности концепта “феодализм” и того содержания, которым это понятие нами наполняется? Не успел я – несомненно, стимулируемый помимо собственных застарелых интересов дискуссией, порожденной книгой С. Рейнольдс¹, – опубликовать статью под названием, не оставляющим сомнений в моих ревизионистских интенциях², как прибыл довольно объемистый том “Присутствие феодализма”, в котором объединены дискуссионные статьи историков из разных стран Запада³. В этой книге собраны тексты докладов, прочитанных на конференции, состоявшейся в Институте истории Общества Макса Планка в Гёттингене в 2000 г. И почти в тот же день я получил извещение от профессора Яноша Бака о том, что в 2005 г. в Будапеште проводится международная конференция “Употребление понятия Средневековья и злоупотребление им в XIX–XXI вв.”.

О том, что брожение умов историков, занятых проблемой феодализма, ведет к расшатыванию устоявшихся общих категорий, может свидетельствовать обширная статья Л. Кухенбуха «“Феода-

лизм”: К вопросу о стратегиях использования одного раздражающе-гносеологического понятия»⁴. Если сопоставить эту работу с изданным тем же ученым сборником “Феодализм – материалы по теории и истории”⁵, то нетрудно убедиться: за четверть века, разделяющую эти публикации, разрушение возведенной историками “вавилонской башни” стало необратимым. Не симптоматично ли и то, что термин *Feudalismus* ныне заключен в статье Кухенбуха в выразительные кавычки? Правда, этот немецкий историк не склонен отрицать за понятием “феодализм” реальное содержание: “Представление, будто можно исключить феодализм из исторической науки, – это... заблуждение. Он в ней неотменимо присутствует”⁶. К сожалению, он ограничивается преимущественно общими рассуждениями и, как кажется, не придает решающего значения собственно “ремеслу историка” – конкретной исследовательской практике. Но, как известно, “Бог в деталях”, и ими не следовало бы пренебрегать.

Что касается отечественной историографии в ее нынешнем виде, то приходится констатировать: проблема феодального Средневековья – понятия и предмета исторического исследования – весьма мало тревожит наших медиевистов, вследствие чего многие продолжают придерживаться довольно-таки заскорузлых взглядов и суждений. Повышенный интерес к теоретическим вопросам медиевистики, предельно догматизированный и во многом стерильный в научном отношении, сменился почти полным равнодушием к такого рода сюжетам. Внимание к социально-экономической проблематике явственно угасло, взоры историков обратились к новым темам, но именно поэтому общие понятия и определения столетней давности все вновь и вновь некритично воспроизводятся в научной и учебной литературе. Не пора ли историкам ревизовать арсенал применяемых ими общих понятий и посмотреть, насколько они разошлись с накопленными ныне конкретными наблюдениями над источниками?

Именно в этой связи я хотел бы поддержать недавнюю попытку И.В. Дубровского расчистить залежи толкований понятий “феод”, “вассалитет”, “феодализм”, некритично используемых в современной медиевистике. Опираясь на труды С. Рейнольдс, равно как и некоторых других исследователей, он наглядно демонстрирует предельную запутанность проблемы. В центре его внимания, как и у его оксфордской предшественницы, – вассально-ленные отношения и соответствующая им терминология, лишь отчасти восходящая к изучаемой эпохе, но в основном употреблявшаяся учеными-юристами Нового времени. “Эти историографические окаменелости влекут за собой шлейф архаических представлений о Средневековье и обществе в целом. За средневековые понятия сегодня выдаются структуры интерпретации, изобретенные в XVI веке и детально разработанные в следующем столетии”⁷.

II

Я отнюдь не намерен возвращаться к тем соображениям, которые были высказаны мною в упомянутой выше недавней статье, и хочу подойти к этой проблеме под несколько иным углом зрения. Рассуждения теоретического характера обычно выглядят более или менее голословными и малоубедительными. Для практикующего историка решающим с точки зрения доказательности его тезисов остается вопрос об источниках. Перед нами – довольно широкий “ассортимент” памятников прошлого, текстов самого разного рода, равно как и материальных остатков старины, и исследователь, руководствуясь ясно осознанными либо относительно смутно представляющимися ему критериями, возводит те или иные памятники в ранг исторических документов. Отбор свидетельств, привлекаемых историком для изучения, уже содержит в себе, пусть латентно, интерпретацию: почему одни тексты привлекают его внимание, тогда как многое другое игнорируется?

Но если вдуматься в эту источниковедческую проблему, то не станет ли ясно, что интерпретация начинается гораздо раньше? Автор средневекового свидетельства, каковое для медиевиста послужит предметом анализа и истолкования, сам произвел определенный выбор – счел важным зафиксировать одни факты, опустив другие; придавая решающее значение каким-то сторонам изображенной им действительности, он не склонен особо задерживаться на иных. Нельзя упускать из виду и ту цепь толкований, которая содержится в трудах историков – предшественников современных исследователей. В итоге пред нами – целая серия интерпретаций, с которыми приходится считаться или, во всяком случае, признавать их наличие. Другими словами, современный историк истолковывает не “изначальные”, “сырые” факты, сообщения о которых дошли до него “прямо из жизни”, – он имеет дело с той информацией, которая уже пропущена через восприятие автора источника и, следовательно, рисует нам не то, “как это было на самом деле”, а некий образ действительности, создавшийся в сознании автора или составителя источника и обросший последующими толкованиями.

Поэтому вполне естественно, что медиевисты ныне сосредотачиваются во все большей мере не на восстановлении событийной истории, а на попытках реконструировать формы мировосприятия, присущие людям изучаемой эпохи, или, по крайней мере, тем из них, кто был причастен к созданию сохранившихся свидетельств. Итак, нацеливая свой окуляр на прошлое, мы в лучшем случае способны воссоздавать не самое это прошлое, но, собственно, лишь те его аспекты, какие было угодно зафиксировать в источниках носителям тогдашнего мировиденья, притом зафиксировать такими способами,

кие были характерны для средневекового сознания. Не представляет ли собой “ремесло” историка-медиевиста не что иное, как современную интерпретацию средневековых интерпретаций?

Едва ли допустимо не считаться с тем несомненным фактом, что современному медиевисту приходится, распутывая хитросплетение интерпретаций, одновременно в полной мере принимать в расчет бесчисленные и полные значимости умолчания? Именно на фоне подобных умолчаний я и намерен рассмотреть в настоящем тексте те данные, которые, к сожалению, редко привлекают внимание историков.

* * *

Представляется целесообразным хотя бы на время отвлечься от “проклятой” проблемы феодализма и заглянуть, если можно так выразиться, за его кулисы. Соответственно, далее речь пойдет не о фьефах и вассалах, а о некоторых характерных чертах аграрного строя Средневековья. Казалось бы, подобная постановка вопроса отнюдь не блещет новизной. Об аграрном строе эпохи и, в частности, о судьбах крестьянства в свое время было написано неисчислимое количество исследований. Правда, приходится признать, что большинство этих трудов датируется концом XIX и первой половиной XX в. В более близкое нам время подобная тематика стала отодвигаться на второй план. Можно вспомнить, что в отечественной медиевистике особое внимание аграрной истории Запада уделяли такие ученые, как Н.И. Карев, И.В. Лучицкий, П.Г. Виноградов, Д.М. Петрушевский, Н.П. Грацилинский, Е.А. Косминский, С.Д. Сказкин, А.И. Неусыхин, М.А. Барг и другие, и что во второй половине истекшего столетия этот интерес резко снизился. Перед учеными стала вырисовываться иная проблематика; я, однако, убежден в том, что история крестьянства не утратила своей актуальности – просто-напросто необходимо переформулировать исследовательскую задачу и, в частности, изменить акценты, что мне и хотелось бы предпринять.

Я позволю себе остановиться на нескольких конкретных примерах, связанных с истолкованием определенных явлений средневековой духовной и материальной жизни. Эти примеры выглядят разрозненными; во всяком случае, на первый взгляд связь между ними не ясна. Тем не менее эта связь существует, и я намерен тотчас же ее продемонстрировать. Да простит мне читатель мое возвращение к тем сюжетам, о которых мне уже довелось писать раньше. Исторический факт, как и исторический источник, о нем сообщающий, неисчерпаем, а потому нелишне время от времени к нему возвращаться. Речь идет всякий раз об отказе от традиционной интерпретации исторических текстов и об установлении новых смысловых связей между их сообщениями.

Я вспоминаю дефиницию феодализма, которую полвека назад дал Жорж Дюби: “Что такое феодализм? Это, прежде всего, умонастроение”, “средневековый менталитет”⁸. Разумеется, нет оснований принимать формулу Ж. Дюби за адекватное или исчерпывающее определение феодализма. Не забудем, что этот великий историк отнюдь не ограничился такого рода определением – в большей мере, нежели многие другие “анналисты”, Дюби выделял в качестве первостепенных социальные стороны средневековой общественной организации. Но даже если вышеприведенную дефиницию придется принимать “со щепоткой соли”, то ее смысл не может вызывать сомнения: социальные, экономические, правовые и политические структуры Средневековья немыслимы, если отвлечься от эмоциональности людей, их образывавших, если не вдуматься в их картину мира.

* * *

Вновь повторю: интерпретация средневекового текста медиевистом, работающим на рубеже XX и XXI столетий, в принципе не может быть идентична той версии, какая запечатлена в этом тексте. Но вся трудность состоит в том, чтобы, не навязывая древнему свидетелю наши нынешние суждения (к сожалению, такое навязывание встречается в трудах историков слишком часто), попытаться найти опору для другой, более убедительной интерпретации в самом этом тексте.

И здесь я позволю себе вольность сослаться на свое недавнее исследование. Оно посвящено анализу двух повествований о конфликтах между исландскими бондами-хуторянами⁹. В одном из этих повествований, в своего рода “микросаге”, рассказывается о том, как слуга знатного и зажиточного хозяина нанес оскорбление его соседу-бобылю, человеку более скромного достатка. Это происшествие, само по себе кажущееся ничтожным, породило серию насильственных действий и вражду между могущественным Бьярни и потерпевшим от его слуг Торстейном. Конфликт привел к поединку между ними, и в ходе этого поединка оба они проявили как боевую доблесть, так и величие души. “Удача” Бьярни одолела “неудачу”, “незевень” Торстейна, и в конце концов последний вынужден был признать превосходство более “счастливого” богача и стать его “человеком”. В центре повествования – сравнение двух доблестных мужей, каждый из коих старается превзойти другого в отстаивании своего достоинства. Внимание автора рассказа концентрируется именно на человеческих качествах протагонистов, и есть все основания предполагать, что на их великодушие и благородство фиксировалось внимание аудитории – тех, кто слушал или читал эту небольшую сагу.

Испытание доблести индивида, демонстрация им чувств и поведения, которое адекватно его свободе и независимости, – таков, по моему убеждению, пафос исландских “семейных саг”. Свободный кутурьянин, глава семьи и полноправный участник местной судебной сходы, в назначенные сроки посещающий общеисландское народное собрание альтинг, где со Скалы закона законоговоритель, единственное на острове должностное лицо, излагает и толкует народное право, более всего озабочен тем, чтобы поддерживать свою репутацию в глазах окружающих. Потому-то он с такой готовностью хватается за меч или боевой топор, дабы защитить свое доброе имя и по окончании жизни оставить по себе славу. Высокое самосознание бонда – вот та основа, на которой зиждется правопорядок независимой Исландии (она оставалась таковой вплоть до 60-х годов XIII в.). Своеобразный “архаический индивидуализм” (я говорю об “архаическом индивидуализме”, для того чтобы не возникло никаких близких сравнений с гуманистическим индивидуализмом Ренессанса) пронизывает как исландскую повествовательную прозу, так и архаически вычурную поэзию скальдов (воспевая подвиги норвежских конунгов, они не упускали случая для прославления собственных поэтических достоинств).

Таковы определяющие черты древнеисландской культуры, если свести ее смысл к нескольким фразам.

Но, вчитываясь в повествование о “Торстейне Побитом Палкой”, повествование, в котором “удача”, “везенье” обоих протагонистов выступают чуть ли не как самостоятельные сущности и где поэтому все внимание, казалось бы, сосредоточено на их человеческих доблестях, великодушии и благородстве, я не мог не заподозрить присутствие еще и другого смыслового пласта. Он подан здесь довольно неприметно, и современный читатель вполне может упустить его из виду. Намеренно упрощая сюжет этого рассказа, т.е. отвлекаясь от демонстрации высоты духа Бьярни, Торстейна, а затем и отца последнего, исследователь социальных отношений нашел бы здесь историю о домохозяйине скромного достатка, который в конечном итоге оказался в зависимости от могущественного и богатого соседа. Этот “низменный”, материальный план дан здесь в высшей степени неназойливо, как бы пунктиром, так что возникает сомнение, насколько существенным был он для автора. Может быть, последний не столько намеревался поведать о том, как Торстейн делался “человеком” Бьярни, сколько “проговорился” об этом вопреки собственным интенциям. Проговорился потому, что такова была тогдашняя исландская повседневность: могущественные предводители собирали довольно значительные (по исландским масштабам, разумеется) владения, а рядовые свободные хозяева в той или иной мере утрачивали если не свободу, то независимость. Говорить при-

менительно к Исландии о феодализме или даже о каких-то его зачатках было бы неоправданным преувеличением. Но в любом аграрном обществе неизбежна дифференциация, и, думаю, мне, в повествовании о Торстейне сквозь картину противоборства, а затем и примирения двух доблестных мужей проглядывает не столь возвышенная суровая сторона действительности.

Делая все необходимые поправки на глубокое своеобразие средневековой исландской социальной жизни, тем не менее позволюсь задаться вопросом: не вправе ли медиевист предположить, что и в других странах среди ингредиентов генезиса новых общественно-экономических отношений были и такие факторы, как психологические, ментальные установки и стимулы, возникавшие под воздействием системы ценностей, принятой в той или иной среде? Осмелюсь утверждать: медиевист не только вправе допустить подобную возможность – *он не вправе не допустить ее!* Социальные и экономические процессы, имевшие место в ту эпоху, несомненно, предполагали человеческие драмы, о коих, к сожалению, нам придется только догадываться. Слишком редко приподнимается хотя бы край завесы, заслоняющей от нашего взора человеческое содержание этих конфликтов.

* * *

Наряду с явным дефицитом источников, которые позволили бы нам приблизиться к уразумению человеческого содержания социальных процессов периода раннего Средневековья, нельзя не отметить: медиевисты, следуя давней традиции, сосредоточивали внимание на юридических текстах, тогда как памятники нарративные оставались где-то на периферии. И вот к чему это приводило. Исследователи *leges barbarorum*, как правило, принимают на веру ту схему социальной стратификации, которая запечатлена во всех этих “варварских законах”, – *nobiles, liberi, laeti, servi*. Посягательства на жизнь, здоровье, честь или имущество представителя каждого из этих правовых разрядов (исключая “рабов”) караются особыми возмещениями или штрафами. Если верить букве судебника, член того или иного разряда получал или платил раз навсегда установленную сумму денег. В этом смысле все *liberi* или *nobiles* были равноценны и неразличимы.

Я убежден, историки, доверявшие этим предписаниям права, были введены в заблуждение, и причина последнего коренится в излишней приверженности к анализу нормативных источников. Между тем склонность законодателя к унифицирующим упрощениям вступала в явное противоречие с действительным положением дел, а именно – с неупорядоченностью и сложностью социальной жизни.

Для того чтобы в этом убедиться, нам придется вновь обратиться к скандинавским памятникам. В исландском судебнике *Grágás* ус-

типичны размеры виры, полагающейся за убитого свободного человека: пять марок серебром. Но знакомство с многочисленными свитками, которые повествуют об убийствах и вызванных ими распрях и умиротворениях, не оставляет сомнения в том, что всякий раз, когда враждующим сторонам удавалось достичь соглашения об уплате вергельда, его размеры устанавливались отнюдь не в соответствии с общей правовой нормой; последняя игнорировалась. Платили столько, сколько казалось правильным. Решающими критериями были личные достоинства потерпевшего, уважение, коим он пользовался, его принадлежность к “хорошему” роду. Иными словами, в центре находился не социальный разряд (“знатный”, “свободнорожденный”, “вольнотпущенник”), но *личность* персоны, ее оценка социумом. Мне трудно допустить мысль о том, что иначе дело обстояло и в тех областях Европы, в которых были записаны и действовали Силисская, Саксонская, Лангобардская и все прочие “правды”. Наличие семейных саг в Исландии проливает свет на такие стороны человеческих отношений, которые остаются в густой тени в тех регионах, где записи права были произведены на латинском языке и где предания, схожие с сагами, по ряду причин не были записаны.

* * *

Было бы нелепо ставить под сомнение распространенность и остроту процессов, приводивших к созданию отношений личной и поземельной зависимости и характеризующих историками в терминах речки и все обостривших антагонизмов между могущественными, знатными и богатыми собственниками, с одной стороны, и мелким людом, который утрачивал свободу и независимость – с другой. Для обоснования подобной точки зрения существует множество исторических свидетельств, однако, еще раз повторю, социальная действительность в период раннего Средневековья была многообразна, и едва ли вполне правомерно пытаться сводить ее к однозначному классовому размежеванию.

В церковных и монастырских архивах сохранилось большое количество документов, оформлявших поземельные и иные имущественные сделки. Некие собственники на разных условиях передавали религиозным учреждениям свои владения или части их. Как правило, исследователь остается в неведении, каков был имущественный и правовой статус лиц, земли которых подпадали под контроль церкви или монастыря. Очевидно, среди традентов могли быть собственники самого разного состояния, и если мелкие крестьяне, отдававшие свои надельные “божьим людям”, скорее всего, должны были подпасть под их власть и влияние, то собственники состоятельные вполне могли сохранять свою независимость. Для того чтобы сделки с недвижимостью обрели законный характер, их условия не толь-

ными жителями или, по меньшей мере, с наиболее влиятельными из их числа.

Обрисованная в общих чертах картина пиров-кормлений может быть реконструирована на материале англосаксонских памятников лишь отчасти. Историк узнает об этих явлениях преимущественно из актового материала – из дарственных грамот, оформлявших королевские пожалования земель и доходов в пользу церкви. Эти пожалования существенно нарушали те прямые связи, которые до того существовали между вождем и соплеменником.

* * *

Предположение о существенном значении этой стороны социальной жизни в функционировании ранних государств нашло дальнейшее подтверждение, когда я от изучения англосаксонских памятников обратился к памятникам норвежским. Англосаксонскому *feorm* в Скандинавии соответствовала *veizla*. Значение этого слова – “пир”, “угощение”. Но о норвежской средневековой “вейцле” наши данные намного более богаты, нежели сравнительно скудные упоминания о “кормлениях” в английских источниках, и потому институт, зафиксированный как в повествовательных, так и в нормативных текстах, выступает перед нами с еще большей отчетливостью. Усадьбы конунга, размещенные в ключевых стратегических местах и регулярно им посещаемые во время разъездов по стране, так называемые *húsabýar*, были своего рода центрами социальной жизни. В этих усадьбах или в усадьбах наиболее влиятельных местных жителей устраивались пиры, которые, помимо всего прочего, были важнейшими узлами социальной информации и культурного обмена. Здесь делились новостями, рассказывали саги и слушали песни скальдов, воспевавших вождя, но здесь же творился суд и, главное, подвергались проверке связи, существовавшие между конунгом и местным населением. Обычай регулировал эти отношения, и в частности, были установлены сроки, в течение которых предводитель с его дружиной мог гостить в одном и том же *húsabý*: длительное содержание этой прожорливой команды могло грозить разорением гостеприимным подданным.

Природа этих социальных связей не может быть понята вполне адекватно, если не принять в расчет другой институт, игравший в жизни традиционного общества не меньшую роль, нежели пиры. Я имею в виду обмен дарами. Этот обычай, если следовать Марселю Моссу, представлял собой одну из важнейших универсальных форм общения между индивидами, скрепляя дружбу и отношения взаимной помощи. Природа этого института особенно отчетливо выступает в тех случаях, когда перемещение даров из рук в руки было явно лишено каких-либо материальных, хозяйственных оснований. На передний план вы-

считает жест – движение материального предмета от одного индивида к другому или от одного социума к другому, предмета, обретавшего в результате акта дарения символический смысл. Не случайно похищение и получение подарка, как правило, совершались на пирах, в присутствии многочисленных свидетелей¹².

До сравнительно недавнего времени социоантропологи и историки видели в институте обмена дарами одно из типичных воплощений жизнедеятельности архаических обществ. Новые исследования свидетельствуют о том, что этот обычай отнюдь не утратил своей символической значимости вплоть до начала Нового времени. Натали Чесмон Дэвис показала, что и во Франции XVI в. обмен дарами был в высшей степени существенным ингредиентом социальной жизни на самых разных ее уровнях. Движение даров подчинялось как ежегодному календарному циклу, так и более индивидуализированному циклу семейно-родовых отношений (рождение, свадьба, похороны и т.д.). Ценность дара варьировалась в зависимости от бесчисленных ситуаций. В деревне движение подарков от господ к держателям и от держателей к господам, равно как и их движение по социальной «горизонтальной», отчасти могло иметь и материальное, экономическое значение, но вся эта довольно-таки сложная и разветвленная практика придавала специфическую эмоциональную окраску социальным отношениям¹³. И в данном случае историк сталкивается с фактами, далеко выходящими за пределы традиционного понимания «интерэкономического принуждения». Для определенных категорий сельского населения, на которые не возлагались барщинные повинности и тягостные платежи, подарки, приносимые свободными держателями сеньорам (дичь или домашняя птица, пара шпор или перчаток и т.п.), оставались главным показателем их подвладности.

* * *

Попытаемся, однако, к институту пира. Норвежские памятники не только знакомят их читателя с той атмосферой, которая складывалась на пирах, этих поистине центральных пунктах человеческого общения, но и дают возможность увидеть то направление, в котором шир «вейцла» изменял со временем свою природу. С объединением страны и созданием постоянных резиденций короля последний получил возможность вознаграждать отдельных своих служилых людей посредством пожалования им кормлений в той или иной местности. *Ungslutmadg* мог кормиться за счет населения отведенной для его прокорма территории. Однако остережемся от применения к институту вейцлы таких понятий, как «лен» или «фьеф». Король мог пожаловать вейцлу дружиннику или кому-либо из своих приближенных, но он мог и отобрать ее, и, во всяком случае, вейцлуманна или лендрманна не приобретали наследственных прав на отдававшиеся под их

контроль кормления. Если и можно (с осторожностью!) говорить о том, что “вейцла” как бы начала свое движение по направлению к лену, то она явно не зашла на этом пути так далеко, как это произошло с франкским бенефицием, сделавшимся феодом. В Норвегии кормление так и оставалось кормлением, не превращаясь в поместье с барской запашкой и регулярными рентами, вносимыми зависимыми держателями¹⁴.

Позволю себе настаивать на том, что подобных “недоразвитых” ленов в Европе было много и за пределами Скандинавии. Современный медиевист, встретивший термин *feodum* на страницах изучаемого им памятника, не преминет заключить, что перед ним – земельное владение, на определенных условиях пожалованное сеньором вассалу и населенное зависимыми крестьянами, в поте лица трудившимися на рыцаря, который тем самым располагал материальной основой для исполнения вассальной военной службы. При этом наш медиевист обычно не задумывается над следующим вопросом: на каком основании он допускает, что всякий раз, когда он встречается в источниках термин *feodum*, тот в жизни в точности соответствовал только что упомянутой системе отношений между сеньором, ленником и крестьянами-держателями? В нашем современном мире мы привыкли к тому, что принятая правовая терминология более или менее унифицирована. Так ли обстояло дело в Средние века и в особенности в начале этой эпохи? Кто может поручиться за то, что один и тот же термин, к тому же на чужом языке и потому а *prigoi* не вполне понятный, имел всегда и везде одно значение? Пол Хайемс, рассматривающий (в упомянутом выше сборнике “Присутствие феодализма”) вопрос о феодальном оммаже, показал, сколь варьировались в зависимости от времени, места и, главное, ситуации те правовые процедуры, которые покрывались термином *homagium*¹⁵. Описанный во всех учебниках ритуал оммажа в действительности отнюдь не был столь единообразным, как это нам представляется. Кроме того он нередко применялся вовсе не при вступлении рыцаря под власть сеньора, а по совершенно иным поводам, скажем, при умиротворении между враждующими семьями. Я полагаю, что мысль Хайемса о вариативности средневековых ритуалов, отнюдь не отстоявшихся в неизменные формы, но в высшей степени текучих, заслуживает сугубого внимания. Встречаясь с социальными отношениями, не соответствующими “идеальному типу”, медиевисты не без некоторой растерянности говорят о “недоразвитости” или даже “ублюдочности” обнаруженных ими институтов¹⁶.

О пирах и обмене дарами как явлениях, широко распространенных в самых разных культурных регионах, далеко отстоящих от Европы, социальные антропологи писали неоднократно. Перед нами – общественные структуры с глубоко своеобразной системой произ-

водства и потребления. Прибавочный, а отчасти и необходимый продукт используется здесь не как средство накопления и эксплуатации низших высшими – плоды человеческого труда служат основой общения между индивидами и группами.

Стремясь акцентировать своеобразие подобной социальной структуры, антропологи обозначают ее как *peasant society*, общество, существенно отличающееся как от *tribal society*, так и от “общества промышленного”.

Ключевое слово, напрашивающееся для характеристики такого рода “экономики”, – “взаимность” (*reciprocity*). Как мы видели, в определенных ситуациях такого рода отношения могли послужить оправданными точками для развития зависимости “слабых” от “сильных”. Но, судя по всему, такова была лишь одна из возможностей, открытых перед подобным социумом. Мне кажется правильным рассматривать институты дара и пира, несомненно, чрезвычайно широко распространенные на раннесредневековом Западе, не просто как переходные состояния, но в качестве основополагающих принципов социальной и экономической организации. Не имеем ли мы дела с фундаментальной характеристикой “крестьянского общества”, над которым могла возникнуть феодальная сеньориально-вассальная система, тем не менее едва ли одолевшая эту свою основу? Это общество и само по себе могло быть довольно глубоко дифференцированным, что, однако, отнюдь не сближало его с обществом феодальным.

* * *

О том, что употреблявшиеся в разных ситуациях и применительно к разным социальным группам унифицирующие термины подчас могут ввести медиевиста в серьезное заблуждение, свидетельствуют и некоторые иные факты. Исследователи английской аграрной истории XI в. немало сил потратили на попытки выяснить состав сельского населения. *Domesday Book*, великая перепись 1086 г., содержит уникальный для той эпохи “статистический” материал. Исследователи располагают редкостной возможностью определить размеры владений и количественный состав разных категорий крестьян. Последние подразделяются на “вилланов”, “бордариев” и “коттеров”; наряду с ними фигурируют и рабы (*servi*). Общепринята точка зрения, согласно которой вилланы представляли собой слой полнонадельных крестьян; бордарии – держателей, менее обеспеченных земель, тогда как к числу коттеров относятся сельские жители, либо лишенные пахотной доли в поместье, либо обладавшие участками ничтожных размеров.

Но здесь возникают кое-какие вопросы и сомнения. Во-первых, принимают ли медиевисты во внимание тот факт, что в Средние ве-

ка все социально-правовые термины были многообразными и текущими, в зависимости от бесчисленных обстоятельств? Тот, кого королевские писцы, показания коих были сведены в “Книгу Страшного суда”, в одном поместье квалифицировали как “виллана”, в другом вполне мог сойти за “бордаря”. И точно так же в число “коттеров” могли попасть, повторяю, и лица, лишённые земли вовсе, и обладатели сравнительно небольших участков.

В “Книге Страшного суда”, как и в “Сотенных свитках” (*Rotuli hundredorum*) 1279 г., показания которых историки аграрного развития Англии сопоставляют между собой, земельные наделы крестьян обозначены терминами “гайда”, “каруката”, “бовата”, “виргата”. По мнению исследователей, указания числа этих пахотных и тяглых земельных величин дают возможность определить размеры манора и земельную обеспеченность крестьян. Эти бесчисленные цифры прямо-таки просятся в статистические таблицы. Но, боюсь, исследователи при этом не очень-то задумывались над вопросом, в какой степени “гайды”, “карукаты” или “виргаты” одного поместья сопоставимы с одноимёнными тяглыми единицами, указанными в описи другого поместья, расположенного в том же или в ином графстве?

Не забываем ли мы о том, что в указанную эпоху не существовало и не могло существовать никаких эталонов земельных мер и эти последние могли бесконечно варьироваться в зависимости от бесчисленных локальных обстоятельств? Я не задавал подобного вопроса Е.А. Косминскому и М.А. Баргу, нашим классикам английской средневековой аграрной истории, и мне трудно было бы предвидеть их возражения. Тем не менее я решаюсь предположить, что, учти они вышеуказанные сомнения, кое-какие их наблюдения и выводы приобрели бы более условный характер.

В этой связи кажется нелишним возвратиться к вопросу о социально-правовом и имущественном составе английского крестьянства в конце XI в. Принимая в расчет чрезвычайно высокий процент “коттеров”, упомянутых в “Книге Страшного суда”, И.Н. Гранат ещё сто лет назад высказал мысль о том, что наличие в английской деревне широкого слоя безземельных людей, т.е. свободных рабочих рук, вовсе не было результатом позднесредневековых “огораживаний”, но представляло собой “изначальную” устойчивую характеристику деревенского быта¹⁷. И.Н. Гранат тем самым разрывает непосредственную связь между существованием в английской деревне довольно широкого слоя людей, готовых продавать свою рабочую силу, и процессом “первоначального накопления”. Во всяком случае, здесь есть над чем призадуматься. Особое значение приобретает вопрос о степени дифференциации в среде крестьянства. Что может воспрепятствовать предположе-

нию о том, что безземельные или малоземельные жители деревни могли оказаться в зависимости не только от крупных собственников, но и от своих соседей-крестьян?

Если вдуматься в рассмотренный нами выше материал, то не начнут ли пред нами вырисовываться пока еще смутные контуры крестьянского общества, разумеется, ни в коей мере не оторванного от тех феодальных институтов, которые по-прежнему занимают центральное место в сознании медиевистов, но жившего сообразно собственным и особым принципам и закономерностям? Приходится допустить мысль о том, что это “крестьянское общество” отнюдь не было обществом равных, но расчленилось на ряд имущественных и социально-правовых групп и разрядов. Это своеобразное социальное образование, к сожалению, сплошь и рядом игнорируется медиевистами, мысль которых односторонне ориентирована на становление феодального строя. Крестьянское же общество теряется в тени, отбрасываемой грядущим феодализмом.

* * *

В центре внимания исследователей генезиса феодализма, как правило, стоит вопрос об изменениях, которые переживал в то время институт земельной собственности. Согласно точке зрения, утвердившейся в советской медиевистике, в дофеодальный период в недрах сельской общины, обладавшей верховными правами на землю, постепенно вызревала частная собственность. Аллод все более становился объектом свободного распоряжения. Имущественная дифференциация вела к тому, что пахотные земли и иные угодья начали концентрироваться в руках наиболее зажиточных членов общины или переходить в собственность церкви и светской знати. Эта концепция, опиравшаяся на идею о прогрессирувавшем разорении общинников, наиболее подробно обоснована в трудах А.И. Неусыхина. На его взгляд, она должна была объяснить процесс превращения свободных общинников в мелких собственников, большинство которых со временем теряло свои права на наделы и превращалось в держателей, зависимых от крупных землевладельцев.

Изложенная (разумеется, предельно схематично) теория представляется мне недостаточно обоснованной и противоречащей многим показаниям источников. Прежде всего: лежащий в основе этой теории тезис о превращении общинной собственности на пахотную землю в собственность частную, свободно отчуждаемую, опирался на “марковскую теорию” (Markgenossenschaftslehre) немецких медиевистов XIX в. Согласно этой теории, в древности и в начале средневековой эпохи германцы-земледельцы объединялись в обширные сельские общины-марки, обладавшие верховной собственностью на землю. Тот факт, что в период позднего Средневековья источника-

ми зафиксировано существование общин-марок (см. об этом ниже), убеждал приверженцев упомянутой теории, что истоки коллективного землевладения и марковой организации надлежит искать, естественно, в седой старине. Основанием для того, чтобы марковая теория была принята на вооружение в марксистской историографии, послужили работы Энгельса, который видел в марке один из осколков первобытно-общинного строя: разительный пример того, как общая историческая концепция подминает под себя конкретную работу историков и создает труднопреодолимые препоны для независимого исследования.

Но начиная с 30-х годов XX в. изыскания, проводившиеся с использованием новых методов, разработанных в археологии, позволили совершенно по-иному рассмотреть всю проблему. Тщательное изучение старинных полей и древних поселений показало, что в последние столетия до Р.Х. и в первые столетия новой эры германцы упорно придерживались обычая селиться отдельными хуторами, что, собственно, засвидетельствовано и в “Германии” Тацита. Эти небольшие поселки оставались стабильными из поколения в поколение, и возделываемые их обитателями пахотные поля подвергались обработке на протяжении очень длительного времени. Археологами обнаружены следы вспашки и каменные и земляные валы, окружавшие эти поля¹⁸.

Ныне в науке уже не высказывается сомнений на тот счет, что германцы представляли собой не кочевников, но народ оседлых земледельцев. Следы подобных “древних полей” обнаружены как в северной половине Германии, так и в Ютландии, на Британских островах и на Скандинавском полуострове. Существенно подчеркнуть другое наблюдение: население этих территорий жило обособленными хуторами, а не общинами. *Аграрный индивидуализм* – явление, убедительно доказанное новейшими данными археологии и истории древних поселений; с этой важнейшей констатацией отечественным историкам все еще предстоит освоиться и примириться.

Марковая теория лишилась своих оснований, и приходится предположить, что те обширные общины-марки, существование коих зафиксировано для конца Средних веков и начала Нового времени, впервые сложились в процессе внутренней колонизации Западной Европы – процессе, охватившем ее не ранее рубежа XI и XII столетий. С увеличением численности народонаселения возникла настоятельная потребность в расчистках лесных территорий под пашню. Раскорчевка лесов и освоение новых пахотных земель были осуществимы преимущественно для крестьянских коллективов, а не для одиночек. Так были заложены основы марковых общин, ошибочно принятых историками XIX в. за пережиточные формы более древнего аграрного строя¹⁹.

Результаты археологических исследований древних полей и поселений давно уже приняты в мировой медиевистике, и советская и постсоветская отечественная историография остается, по сути дела, единственным бастионом марковой теории, бастионом обветшавшим и полуразрушенным²⁰.

Но если приходится отказаться от изжившей себя точки зрения на “исконную”, восходящую к родовому строю, общину и якобы соответствовавшие ей формы земельной собственности, то и многие аспекты проблемы генезиса феодализма неизбежно придется рассматривать по-новому.

* * *

Мы уже невольно вторглись в сферу рассмотрения вопроса о природе земельной собственности в раннесредневековой Европе. Здесь нет ни места, ни возможности в должной мере углубиться в его существо. Я позволю себе вкратце остановиться лишь на отдельных аспектах этого вопроса. Не представляли ли собой упорные и неустанные поиски сельской общины в источниках начального этапа Средневековья выполнение советскими медиевистами определенного “социального заказа”? При этом отечественных историков не останавливало то обстоятельство, что в сохранившихся памятниках первого тысячелетия н.э. мы не встречаем ни упоминаний общинной организации, ни самого термина *communitas*. Что касается термина *villa*, то он, вопреки очевидности, необоснованно получал явно тенденциозное истолкование (ср. его интерпретацию в работах Н.П. Грацианского и А.И. Неусыхина). Не показательно ли то, что если в своей монографии “Общественный строй древних германцев” (1929) А.И. Неусыхин отрицал существование у них общины, то начиная с 40-х годов рядовые свободные франки, как и представители других германских племен, расселившихся на территории завоеванной ими империи, без каких-либо доказательств упорно именовались в его работах “общинниками”?

Земельный надел крестьянина или иного владельца в ряде источников характеризуется как аллод (*allodium*). В контексте теории, с коей я полемизирую, аллод рассматривался как индивидуальный надел, первоначально подконтрольный верховенству общины, а на более поздней стадии эволюции последней превращающийся в частную собственность, в “товар” (Энгельс). В любом случае аллод представляется историкам объектом имущественных прав, предметом отчуждения и более или менее свободного распоряжения. За неимением данных, историки лишены возможности более глубоко проникнуть в его природу.

Мне кажется, однако, что положение не безнадежно. Есть возможность прибегнуть к своего рода “обходному маневру”. Правда,

для этого нам придется покинуть территорию франкского государства и вновь обратить свои взоры на Север.

Как мне уже неоднократно приходилось подчеркивать, древняя Скандинавия могла бы послужить для медиевиста своего рода исследовательской лабораторией. Дело в том, что если на континенте Европы латынь на протяжении ряда столетий оставалась официальным языком, на котором записывали как повествовательные тексты, так и юридические документы, то на Севере, как отчасти и в донорманской Англии, преобладали записи на народном языке. Культурно-историческое значение этого факта поистине огромно. Я позволю себе напомнить мысль Марка Блока: когда лица, заключавшие между собой поземельную или иную сделку, обращались к ученому клирику, писцу, который должен был записать условия соглашения, то эти люди выражали свои намерения на родном языке; однако ученый писец фиксировал это соглашение на латыни. Тем самым происходил переход из одной системы понятий в другую. Задача, стоящая перед современным медиевистом, говорит Марк Блок, заключается в том, чтобы мысленно перевести условия сделки с латыни на язык, на котором говорили и думали контрагенты, – задача трудноисполнимая. Трудность, прежде всего, в том, что мы лишены возможности подслушать речи этих людей²¹.

Что касается скандинавов, то записи права и повествовательные и поэтические тексты, сохранившиеся в огромном количестве, за немногими исключениями записаны на древнесеверном (древнеисландском, древненорвежском) языке. Это обстоятельство, само по себе облегчая труд медиевиста, открывает перед ним возможность несколько ближе подойти к сознанию носителей народного языка. Еще более существенно другое преимущество: исследователь имеет дело не с немногими германскими правовыми понятиями, кое-где рассеянными в латинских текстах и подчас остающимися загадочными в силу своей изолированности, но с огромным правовым вокабулярием, термины которого изменялись в зависимости от контекста. Мы можем узнать, как эти люди представляли себе самые разные аспекты социальной и правовой действительности и, более того, как эти последние соотносились с общей картиной мира, присущей носителям языка.

Земельная собственность, обозначавшаяся у франков термином “аллод”, у скандинавов именовалась “одалем”. И вот какое наблюдение можно сделать при знакомстве с древнескандинавской лексикой: нет сомнений в том, что термин *ódal* родственен термину *eðel*. Последний характеризует, однако, не земельную собственность, а личность собственника. Этим термином обозначали родовитость, благородство, доброе происхождение. Не означает ли это, что земельный собственник обладал свободой, полноправием и сознанием дос-

твенства человека, происходившего из свободного рода? Качества полноправного свободного индивида распространялись и на его земельное владение, а обладание наследственной земельной собственностью придавало благородство и высокое достоинство одалману. Анализ древнескандинавских памятников приводит к заключению, что права, характеризовавшие индивида, “облагораживали” его владение. То, что индивид владел наследственной землей, означало не только его статус собственника, но вместе с тем придавало определенные позитивные черты его личности. Короче говоря, личные права и право собственности сочетались здесь в некое органическое единство. Разве не показательно то, что, сообщая о якобы предпринятом первым объединителем Норвегии королем Харальдом Прекрасноволосым “отнятии одаля” у всего населения страны, автор “Круга Земного” имел в виду, собственно, не совершенно невозможную поголовную конфискацию земельных владений, но посягательство короля на вольности бондов – свободных земледельцев и скотоводов²²?

Отношение владельца одаля к наследственному участку земли отнюдь не сводилось к отношению между субъектом и объектом. Одалман и одаль находились в теснейшем, постоянном и едва ли расторгимом единстве. Возникает вопрос: было ли подобное единение собственника-возделывателя земли с предметом его обладания исключительной особенностью древней Скандинавии²³? Здесь нелишне вспомнить о том, что во многих древнеанглийских текстах, и правовых, и поэтических, наследственное земельное владение именуется *eðel*.

Древнескандинавские источники, несомненно, глубоко своеобразны, что исключает прямую экстраполяцию полученных при их анализе результатов на другие регионы. Но вместе с тем медиевист оказывается здесь лицом к лицу с новыми возможностями исследования, с новыми подходами к исторической действительности, в одном случае перед ним открывающимися, а в других случаях – скрывающимися от его взора. Подобно тому, как основоположники исторической антропологии в свое время позаимствовали у этнологов новые для медиевистики понятия, способствовавшие обновлению их профессии, историк-скандинавист, по-видимому, в состоянии сделать еще один шаг в том же направлении.

* * *

Мне кажется, что мысль о неисчерпаемости исторического источника заслуживает внимания. Но эта неисчерпаемость есть не более чем функция исследовательской активности историка. Задавая источнику новые вопросы, он тем самым рассматривает его под иным углом зрения и ставит его в новые смысловые связи с другими источ-

никами. Для современной стадии развития исторического знания и, в частности, медиевистики, императивным является поиск человеческого содержания объективного исторического процесса. Хорошо известно, что среди сюжетов, обладающих большой привлекательностью для изучения, современные медиевисты вычленяют такие богатые содержанием и многозначные феномены, как миф и его связи с социальной практикой и память, организующая индивидуальное и коллективное сознание. Если читать средневековые тексты под указанным углом зрения, то, мне думается, в них, в этих текстах, можно было бы выявить такие пласты, которые еще сравнительно недавно не высвечивались или даже игнорировались.

Для того чтобы дать конкретное подтверждение этой мысли, я хотел бы вкратце остановиться на анализе одной из песней цикла “Старшей Эдды”. Включенные в этот знаменитый комплекс песни воспевают языческих богов и древних героев; и мир людей, поглощенных повседневными земными заботами, обычно кажется читателю и даже исследователю бесконечно далеким от мира фантастических и легендарных персонажей этого поэтического эпоса.

Но всегда ли так резко противопоставлены оба мира? В свое время я задался этим вопросом, и мои выводы оказались далеко не столь однозначными. Достаточно вчитаться в “Речи Высокого”, одну из самых известных песней цикла, для того чтобы убедиться: центральное место в ней отведено афоризмам житейской мудрости, поучениям, которым надлежит следовать человеку, пробивающему свой нелегкий путь в жизни. Как вести себя в чужом доме, в гостях, на пиру, надлежит ли гостю быть общительным и разговорчивым или же оставлять скупым на речи и остерегаться опьянения? Какую роль выполняет обмен дарами? Каково содержание дружбы в обществе домохозяев-хуторян, живущих в отдалении один от другого? И т.д., и т.п. Изучение этих житейских максим позволяет исследователю несколько приблизиться к пониманию мироощущения древних исландцев, о быте и деяниях которых под совершенно иным углом зрения рассказывают “семейные саги”. В “Речах Высокого” нет ни богов, ни героев.

Но вот перед нами другая песнь этого же цикла – “Песнь о Хюндле”. Она предельно заполнена именами легендарных персонажей, древних героев, фигурирующих и в других поэтических текстах, равно как и именами языческих богов. В определенном смысле эта песнь есть не что иное как каталог славных имен. Но вчитаясь в нее более пристально, и на поверхность выступит совсем иное ее содержание. Вкратце оно сводится к следующему. Некий Отгар готовится к тяжбе с неким Ангантюром, и объектом судебного разбирательства на тинге будет “отцовское наследие”, земельное владение – одаль. Для того, чтобы выиграть свое дело в суде, Отгару

необходимо назвать имена сородичей, которые до него владели этим достоянием. Но он не готов к тому, чтобы успешно пройти судебную процедуру, ибо не помнит нужных имен.

Оттар обращается за помощью к богине Фрейе, очевидно, благорасположенной к нему. Фрейя, в свою очередь, вызывает некое сказочное существо Хюндлю – колдунью, обладательницу богатейшей памяти. Преодолевая ее сопротивление (ибо Хюндля отнюдь не расположена к Оттару), Фрейя принуждает Хюндлю отправиться вместе с ней в Валхаллу, чертог верховного бога Одина, и там просветить Оттара, открыть ему нужные имена. “Пиво памяти” делает Хюндлю разговорчивой, и против собственной воли она обрушивает на сознание “неразумного” Оттара целый каскад имен. Однако в этом обилии имен собственных прослеживаются определенная структура и логика.

Первыми в этом перечне идут имена представителей пяти поколений родичей – предшественников Оттара с отцовской стороны. Но на этом Хюндля не останавливается и продолжает называть имена знатных предков и славных людей, которые жили в давние времена и которые все оказываются связанными родством с Оттаром. “Все это – род твой, неразумный Оттар!”, – приговаривает она. Следуя за Хюндлей, мы добираемся до легендарных королевских династий и даже до языческих богов. Теперь Оттар подготовлен к судебной тяжбе и может рассчитывать на успех. Но почему столь важны эти генеалогические сведения?

Если мы отвлечемся от “Песни о Хюндле” и вчитаемся в древне-норвежский судебник “Законы Гулатинга”, то найдем в нем предписание: человек обладает нерушимым правом владения одалем, если способен перечислить представителей пяти поколений своих предшественников-сородичей, кои в непрерывной наследственной линии были собственниками этой земли. Но как раз именами представителей пяти поколений предков Оттара и открывается обширный перечень его фактической и легендарной родни, которая по сути дела охватывает всех свободных и благородных людей, с древнейших времен населявших Норвегию.

Деловой, фактичный реестр юридических предшественников Оттара находит в речах Хюндли свое непосредственное продолжение в длиннейшем перечислении имен героев и богов. Повторяю, отныне Оттар готов к успешному судебному состязанию за обладание отцовским одалем. Но вместе с тем – и это хотелось бы особо подчеркнуть – в его сознании, в его “культурной памяти” возрождены воспоминания о бесчисленных “людях Мидгарда”²⁴. Современному читателю бесконечного перечня имен, извергаемого опьяненной Хюндлей в царстве мертвых, они, эти имена, ничего не говорят. Совсем не так обстояло дело в то время, когда сложилась эта песнь и ко-

гда она в конце концов была записана. Каждое имя было компонентом эпоса и мифа, и о многих носителях этих имен существовали саги и предания, так что упоминание имени неизбежно мобилизовало память о его носителе и его подвигах. Иными словами, нагнетаемые Хюндлей перечни имен суть своего рода аббревиатуры, за которыми для скандинавов XII или XIII в. скрывался целый мир. Для нас он, за редкими исключениями, безвозвратно утрачен, но современному исследователю необходимо вообразить себе то богатство воспоминаний и ассоциаций, которое каждое из имен, названных в “Песни о Хюндле”, должно было породить в сознании средневековых норвежцев и исландцев.

“Песнь о Хюндле” – одна из мифологических песней эддического цикла, это самоочевидно. Но вместе с тем ее изучение помогает нам понять тот мифопоэтический механизм, который, по-видимому, включался на тингах в ходе расследования имущественных притязаний и наследственных собственнических прав. Когда историк, изучающий поземельные отношения во франкском государстве, встречается в источниках с терминами *allodium*, *haereditas*, *praecarium*, *dominium* или *proprietas*, он естественно и привычно оперирует правовыми категориями, и не более того. Боюсь, что сфера эмоций и мифопоэтических преданий остается бесконечно далекой от него, ибо латинская терминология и фразеология записей права едва ли способны стимулировать его исследовательскую фантазию. Но, может быть, было бы нелишне допустить, что в духовном универсуме средневековых людей, которые тягались из-за земельных участков и иного наследства, эти в высшей степени прозаичные судебные тяжбы активизировали и тот мифопоэтический пласт сознания, который, как мне кажется, приоткрывается перед нашим взором при чтении “Песни о Хюндле”²⁵.

Мне трудно представить себе, что подобное возбуждение сферы эмоций, мифов и верований, которые медиевисты ныне объединяют понятием *metoia*, имевшее место на скандинавском Севере, начисто отсутствовало в других широтах. Скорее всего, перед нами пробел, обусловленный своеобразием источников. Это “своеобразие”, а точнее молчание, поистине вопиющее, нуждается в объяснении и осмыслении.

Христианизация германских племен на континенте Европы, как известно, произошла на полтысячелетия ранее, нежели на скандинавском Севере. Да и по существу эта христианизация была намного более интенсивной. В результате, здесь не было условий для сохранения мифов, песней и народных преданий и обычаев в их “первозданном” виде. Тот фонд правовых обычаев и верований, который католическая церковь считала необходимым зафиксировать в письменности, нашел выражение в текстах на латинском языке. “Ак-

культурация варваров”, их приобщение к позднеримской цивилизации привели к тому, что многие тексты, порожденные их оригинальной устной культурой, не были записаны. Совсем иначе дело обстояло на Севере.

* * *

Новый подход к интерпретации средневековых источников, который я пытался здесь обосновать на нескольких, казалось бы, разрозненных примерах (их число, разумеется, можно было бы умножить), связан со стремлением преодолеть барьеры между мифологией и правом, поэзией и социальными отношениями, бытом и религиозными верованиями. Направление исследований, постепенно утверждающееся начиная примерно с 70–80-х годов минувшего века, может быть охарактеризовано как “экономическая антропология”, “культурная история социального”, но я предпочел бы уже устоявшееся определение – “историческая антропология”. Ее существо заключается в стратегии, направленной на раскрытие человеческого измерения в истории. Но дело, собственно, не в словах и наименованиях: трудность состоит в том, что источники, коими располагают медиевисты, далеко не всегда поддаются анализу настолько глубокому, чтобы добраться до человека и его мира.

Как видится в свете приведенных выше наблюдений процесс феодализации, рисующийся в наших учебниках и исследованиях? Здесь трудно не обратить внимание на определенное противоречие. В советской медиевистике явный упор делался на процессах, приводивших к формированию аллода, частной земельной собственности, своего рода “товара”. Разорвавшиеся массы общинников утрачивали право собственности на свои наделы и оказывались перед суровой необходимостью превратиться в держателей крупных земельных дел. Крестьянин утрачивал свой земельный участок или, во всяком случае, право распоряжения им, делался прекаристом, зависимым человеком. Индивиду приходилось расставаться со своей собственностью, а вместе с нею и с личной свободой и независимостью. Такова общепринятая теория.

Между тем, как я старался показать, источники дают основание и для противоположных утверждений. Наличие большого числа “подписей” свидетелей поземельных сделок – лиц, явно обладавших правоспособностью, – скорее, склоняет нас к выводу о сохранении мелкой земельной собственности и, по-видимому, относительно широкого слоя рядовых свободных. Вдумываясь в существо института “аллода”, невольно приходишь к мысли о теснейшей связи между домохозяевами и землей, остававшейся предметом их трудовых усилий на протяжении многих поколений. Земельный участок – не только источник материальных благ, но и нечто большее. Земля была не-

посредственным продолжением субъективности обладателя, воплощением физических и эмоциональных затрат предков.

Таким образом, приходится констатировать наличие прямо противоположных тенденций, проявлявшихся в отношении домохозяина к возделываемой им земле. Налицо одновременно интимная связь крестьянина с его патримонием и угроза утраты им своих собственных прав. Источники едва ли дают нам возможность уяснить, какая из указанных тенденций превалировала. По-видимому, в разных областях могла возобладать та или иная тенденция, но, во всяком случае, ясно, что утверждения о широкой экспроприации мелких землевладельцев односторонни.

Однако другое наблюдение, как мне представляется, не может внушать больших сомнений. Обладание земельным участком и возделывание его ни в коей мере не сводилось к одному лишь утилитарному его использованию. Земельный надел – отнюдь не бездушный объект. Земельная собственность крестьянина была как бы пропитана его эмоциями и верованиями, и мы видели выше, как право собственности на землю осознавалось в формах мифа, саги и легенды.

* * *

До сих пор речь шла преимущественно о феноменах, характерных для начала средневековой эпохи. Теперь я позволю себе обратиться к более поздним временам и в этой связи вновь вернуться к проблеме сельской общины. Ибо крестьянская община классического и позднего Средневековья, в свою очередь, предстает ныне перед медиевистами в несколько ином виде. Отношения между крестьянами-держателями земли и землевладельцами-господами оказываются более сложными и многогранными. Новое прочтение уже известных науке *Weistümer* – сельских “уставов”, записей обычного права – дает возможность углубить наши представления об отношениях между господами и крестьянами и поставить перед этими источниками новые вопросы. *Weistümer*, рассматривавшиеся немецкими учеными XIX в. и прежде всего их наиболее видным публикатором Якобом Гриммом в качестве “правовых древностей” (*Deutsche Rechtsalterthümer*), ныне поворачиваются к исследователю другой своей стороной. В их основу положены записи местных “законов”, излагавшихся на регулярных собраниях крестьян под председательством сеньора. Последний стремился упрочить свое верховенство, между тем как крестьянский “мир”, не оказывая, как правило, прямого противодействия господским домогательствам, тем не менее пытался отстоять традицию, в той или иной мере ограничивавшую помещичий произвол. На страницах “уставов” встречались и вступали во взаимодействие две традиции – та, которая выражала волю крупного землевладельца, и крестьянская традиция противодейст-

ния сй. До поры до времени (огрубляя – до кануна Крестьянской войны 1525 г.) это противостояние, по-видимому, приводило к достижению некоего баланса сил.

Ценность Weistümer для исследователя состоит прежде всего в том, что здесь мы можем расслышать голоса крестьян, озабоченных индичтой своих хозяйственных и правовых возможностей. В ответ на предъявленные им вопросы об их повинностях представители общины должны были описать актуальное положение дел как унаследованное от предков. Поэтому Weistum – это текст, в котором реализовался своего рода “диалог” между обеими сторонами. Господин строил свои вопросы таким образом, чтобы навязать общинникам собственное представление о тех порядках, коим они обязаны были повиноваться. Крестьяне же стремились внести в свои ответы собственное толкование традиции. Приходится предположить, что это собеседование подчас не было лишено немалой напряженности, поскольку господин стремился навязать им свою волю и присутствие его вооруженной свиты служило своего рода молчаливым аргументом, тогда как крестьяне, естественно, пытались противопоставить ему такое понимание “старины”, какое представлялось им более благоприятным.

Устанавливавшийся в результате подобного диалога баланс правовых норм и обычаев, коих надлежало придерживаться, одновременно и выражал социальную память общинников, и в значительной мере формировал ее. Несмотря на то, что в этих собраниях в целом доминировала воля господина, крестьяне самим фактом соучастия в “диалоге” налагали свой отпечаток на истолкование их отношений с землевладельцем. Записи Weistümer – продукт непосредственного взаимодействия устной традиции с традицией письменной, и в этом – несомненная познавательная значимость такого рода памятников.

В свое время в советской медиевистике была предпринята попытка проанализировать Weistümer, но ее недостатком было то, что эти записи рассматривались исключительно с точки зрения выяснения классовых антагонизмов, тогда как почти все богатство содержания Weistümer оставалось вне поля зрения исследователя²⁶. Поэтому ныне изучение жизни средневековой сельской общины, взглядов и поведения крестьян – участников сельских сходок, опять-таки сопровождавшихся попойками, приходится начинать по сути дела сызнова. Тонкое многогранное исследование Гади Альгази демонстрирует нам, какие богатые перспективы сулит привлечение правовых записей, произведенных “близко к земле”²⁷.

Антагонизм между земельным собственником и подданными, природа “внеэкономического принуждения” в свете изучения Weistümer получают новое конкретное наполнение. Отношения между господином и крестьянином не сводились к одной лишь угрозе

насилия или реализации этой угрозы. Желательно не упускать из виду, что эти антагонисты постоянно жили бок о бок и уже поэтому должны были искать какой-то приемлемый *modus vivendi*. “Внеэкономическое принуждение”, как оно рисуется в *Weistümer*, было принуждением, использовавшим элементы правосознания, социальную память и традиции. Если содержание записи обычаев определялось в первую очередь волей господина, который ставил перед крестьянами важные для него вопросы – о повинностях, податях и соблюдении господских привилегий, – то крестьяне при всем сохранении приниженного положения все же выступали в какой-то мере в роли толкователей “закона” деревни. Не без основания о средневековом плебсе говорят как о “немотствующем большинстве”. Но в данном случае оно не вовсе лишено голоса, и разве само молчание крестьян, возникшее в ходе беседы с господином, не было красноречивым?

Weistümer – памятники, относящиеся к периоду между XII и XVII столетиями. Они позволяют нам несколько приблизиться к постижению духовной культуры простолюдинов Германии той эпохи. Сколь ни бесправны (все же вернее говорить не о “бесправии”, а о “неполноправии”) они были, господам приходилось считаться с ними не только как с угрожающей уже самими своими размерами массой, но как с субъектами правоотношений²⁸.

* * *

В заключение я, рискуя вызвать раздражение читателя, хотел бы еще раз обратиться к древнеисландским памятникам. Причина состоит в том, что корпус древнескандинавских текстов отличается необычайным многообразием. Оно особенно поражает, если учесть крайнюю немногочисленность народа, в недрах которого эти сочинения возникли и бытовали. Количество авторов, приходящихся на душу населения, не может не поразить.

От конца XIII или начала XIV столетия дошла эддическая “Песнь о Риге”, содержащая своего рода “мифологическую социологию” или, точнее, “социогенез”.

Анализ социальной структуры средневекового общества давно уже занимает европейских медиевистов. Достаточно вспомнить учение о тройственном членении общества, выдвинутое в начале XI в. французскими церковными иерархами Адальбероном Ланским и Герардом из Камбре. В своих поучениях оба епископа пишут о тройственно разделенном обществе, состоящем из *oratores*, *bellatores* и *laboratores* (или *aratores*). Этот сословный порядок, как утверждают оба автора, установлен Господом, и взаимодействие *ordines* служит основой благополучия королевства. Построения Адальберона и Герарда многократно всесторонне исследованы, а потому я ограничиваюсь лишь напоминанием о них.

В отличие от поэмы Адальберона, описывающей от века существовавший сословный порядок, “Песнь о Риге” излагает предание о возникновении социального устройства, и хотя эта песнь была записана несколько веков спустя после принятия скандинавами христианства, в этом сочинении едва ли можно обнаружить какие бы то ни было его следы. Разумеется, эта песнь – продукт ученой культуры, но вместе с тем приходится допустить, что содержание “Песни о Риге” возвращает читателя к состоянию общества, еще не затронутому европейским церковным влиянием. Именно в этом плане нас и интересует упомянутая эддическая песнь.

Вкратце ее сюжет сводится к следующему. Некое языческое божество по имени Хеймдаль, скрываясь под “псевдонимом” Риг (это имя больше нигде в источниках не упоминается), последовательно посещает три дома. Сперва Риг приходит в жалкую хижину, в которой живут Прадед (Ái) и Прабабака (Edda), проводит у них три ночи и, наделив их поучениями, отправляется восвояси. Прабабка же рождает сына по имени Раб (Præll). Он отличается уродством, кожа у него темная и задубевшая. Когда он взял себе жену (ее звали Ríg, т.е. рабыня), у них пошли сыновья с характерными именами-прозвищами: Скотник, Грубиян, Хлевник, Лентяй, Бездельник, Вонючий и др., и дочери: Обрубок, Грязноносая, Крикунья, Служанка, Оборванка и другие в том же роде. Трэль и его дети постоянно были заняты домашним и грязным трудом. “Отсюда весь род рабов начался”.

Далее Риг посетил дом, в котором живут Дед (Afi) и Бабка (Amma). Эти благополучные хозяева хорошо угостили Рига и оставили ночевать вместе с собой. Гость провел у них три ночи, и в положенный срок Бабка родила сына Карла (Karl). Он был несравненно более пригож, чем Трэль. Карл был землепашцем, а имя его можно понимать как “мужчина”, “крестьянин”, “мужик”. (Здесь уместно вспомнить, что в Англии раннего Средневековья рядовых свободных именовали “кэрлами”). Соответственно, детей Карла звали Свободный крестьянин, Молодец, Свободнорожденный, Человек, Ремесленник, Земледелец и т.д., а дочерей – Говорливая, Гордая, Надменная, Жена, Женщина, Хозяйка и т.д. “Отсюда все крестьяне род свой ведут”.

Наконец Риг пришел к хоромам, в которых жили Отец (Fadir) и Мать (Móðir). Они вели праздный и праздничный образ жизни. Рига роскошно угостили и опять-таки оставили у себя на три ночи, и в положенное время Мать родила сына, которого называли Ярлом (Jarl). Когда он подрос, то сделался красавцем, предававшимся охоте и воинским подвигам. Риг обучил его магическим рунам и наградил обширными владениями. Среди детей Ярла выделился младший сын, паделенный именем Конунг (Konungr), в свою очередь, обладавший магическими способностями и превзошедший в этом своего отца.

Перед нами опять-таки tripartitio, но, в отличие от tripartitio Christiana, она рисует генезис социального целого. Некое божество сотворяет сперва рабов, затем свободных земледельцев и наконец знатных предводителей, включая конунга. Бросается в глаза другое существенное различие между обеими тройственными схемами. Епископ Адальберон проливает слезы сочувствия тяжелой доле серва, т.е. представителя *ordo agricultorum*. Между тем участь “карлов” (крестьян) в “Песни о Риге” отнюдь не выглядит столь же безотрадней. В противоположность “трэлям” (рабам) крестьяне выглядят вполне благополучно; их образ жизни прост, особенно в сопоставлении с роскошным досугом Ярла и Конунга, но сам по себе не имеет оттенка социальной неполноценности. Хотя их жилища, одежда и питание несравнимы с роскошью Ярла, Карл явно обладает сознанием человеческого достоинства, он – свободный человек²⁹.

Если в “социологической схеме” французских епископов начала XI в. крестьяне образуют третье, низшее сословие, то в “Песни о Риге” они выступают в качестве промежуточного, второго сословия. Тем, кто знаком с содержанием исландских саг, эта констатация не покажется странной, ведь и в них свободные хуторяне, уступая первенствующее положение влиятельным предводителям, вместе с тем во всех отношениях возвышаются над рабами, слугами и приживалами, каких было немало в усадьбе каждого самостоятельного хозяина.

В кругозор медиевистов, изучающих аграрный строй, попадают, как правило, зависимые и забитые сервы и вилланы. Исландские источники побуждают нас расширить поле обозрения и включить в него рядового свободного, относительно самостоятельного домохозяина. Во всяком случае, отечественным медиевистам давно стоило бы подумать, не совершают ли они отнюдь не безобидную ошибку, когда, говоря о зависимых крестьянах Запада, применяют к ним понятие “крепостные”. Вольно или невольно они вчитывают в социальную-правовую действительность Англии или Франции представления, порожденные знанием русской жизни эпохи “Мертвых душ”.

Сам собою разумеется, что такой памятник поэзии, как “Песнь о Риге”, рисует картину общества в своеобразном преломлении. Помимо всего прочего, он ее в немалой степени архаизирует. Перед нами – не то, что было “на самом деле”, а то, что создавалось в сознании средневековых скандинавов. Иными словами, налицо не “реальное отражение” общественного бытия, но его образ, формировавшийся фантазией людей, принадлежавших к этому обществу, т.е. неотъемлемая часть тогдашней действительности.

III

После всех этих экскурсов, которые, боюсь, могли несколько утомить иных читателей, поставим вопрос: что объединяет между собой приведенные выше примеры? Совершенно очевидна их гетерогенность. Примеры эти разбросаны и во времени, и в пространстве; более того, они принадлежат разным пластам исторической реальности – от мифа и легенды до юридических записей. И тем не менее внимательный читатель, как я надеюсь, не мог не ощутить при ознакомлении с нашими свидетельствами постоянно обнаруживающееся присутствие в этом материале слоя свободных людей – земледельцев и скотоводов, людей, которые, однако, отнюдь не были только лишь непосредственными производителями и объектами эксплуатации. Они принимали деятельное участие в судебных сходках и пирах, слушали и, возможно, даже сочиняли песни и стихи, выстраивая в своей фантазии образ общества, в котором постоянно происходит движение даров. Содержание их сознания, сфера их деятельности и самый их удельный вес, несомненно, были всякий раз разными, но их наличие и прямое или косвенное давление на социальную жизнь невозможно отрицать. Естественно, степень свободы представителей этой социальной страты варьировалась в широких пределах, и подчас нам ее трудно измерить. Я хотел бы, однако, настаивать на том, что призыв к очистке общих понятий, употребляемых медиевистами, предполагает, в частности, и приглашение заново продумать и уточнить и такой, казалось бы, очевидный термин как “крестьянин”. Я убежден в том, что подобное переосмысление влечет за собой как самый тщательный и всесторонний анализ собственнических прав крестьянина и его социально-правового статуса, так и попытки проникнуть в содержание его мыслей и верований.

В научной литературе уже было отмечено, что медиевисты-аграрники, употребляя понятия “крестьянин” и “крепостной”, вольно или невольно вкладывают в них то содержание, которое имели эти понятия в Восточной Европе в конце Средневековья и в Новое время. Этот упрек адресован в первую очередь русским медиевистам. Наше сознание воспитано на материале истории России XVI–XIX вв., и чрезвычайно трудно избавиться от того, чтобы переносить смысл этих терминов на французских или английских вилланов и сервов XII–XIV столетий. Картина социальной жизни почти без остатка заполняется представлением о крайней забитости и бесправии трудового народа, с коего сдирают семь шкур, о неизбежном антагонизме между крестьянами и крупными землевладельцами, о постоянной и все нарастающей враждебности, насыщавшей отношения между ними. Что касается духовного мира сельского населения,

то важность его изучения была поставлена под вопрос известным тезисом об “идиотизме деревенской жизни”.

Все эти явления, несомненно, имели место, и было бы нелепо отрицать их важность. Но, может быть, настала пора остеречься необоснованно односторонних взглядов историкам, вскормленным на идеях классовой борьбы как главной движущей силы всей средневековой истории? Отношения между земельными собственниками и зависимыми держателями длились на протяжении нескольких столетий, и возникает резонный вопрос: возможна ли столь продолжительная жизнь на вулкане? Я позволю себе напомнить о том, что в подробных и длительных беседах между представителями инквизиции и жителями пиренейской деревни Монтайю обсуждались самые разные аспекты жизни этих крестьян и крестьянок, от их повседневного быта и сексуальных отношений до их еретических верований и внутридеревенских интриг. Менее всего мысль крестьян обращалась на этих допросах к их господам: герцог, король, епископ как бы отсутствуют в их сознании, и действительная жизнь сельского населения протекает на каком-то другом уровне. Таково свидетельство судебных протоколов начала XIV в.

В предшествующем столетии в Германии была сочинена поэма под названием “Майер Хельмбрехт”. Отец и сын Хельмбрехты спорят между собой о том, какой образ жизни предпочтителен – рыцарский, коему желает подражать Хельмбрехт-сын, или же честный крестьянский труд, прославляемый его отцом. Драма завершается жалкой гибелью младшего Хельмбрехта, силившегося выскочить “из грязи в князи”. Любопытно, что его отец, преуспевающий хозяин, гордится своей независимостью и преисполнен чувством собственного достоинства. Анонимный автор поэмы ни словом не упоминает господина, который, надо полагать, высылся над этим крестьянином.

Историки привлекли к тому, чтобы четко противопоставлять крестьян их господам, и вполне справедливо. Обращаясь к текстам *leges barbarorum*, медиевисты склонны искать земельных собственников и эксплуататоров среди *nobiles*, тогда как в *liberi homines* они видят “простых свободных” (*Gemeinfreie*), людей, стоящих перед реальной угрозой утраты свободы и собственности. Между тем анализ скандинавских источников, как правовых, так и повествовательных, не оставляет никаких сомнений в том, что любой бонд – землевладелец, домохозяин, глава семьи – обладал наряду с участком пашни и выгоном не только крупным и мелким домашним скотом, но и рабами, и что в его доме жили и трудились вольноотпущенники, наемные работники и всякие приживалы. В одиночку свое хозяйство вели лишь бедняки-бобыли. Упомянутая выше “Песнь о Риге” явно исходит из представления о том, что рабы, поглощенные тяжким и гряз-

ным трудом, находились в зависимости не только от знатных ярлов, но и от карлов – свободных и обеспеченных домохозяев.

Короче говоря, рабами (а рабство сохраняло в Европе свое значение на протяжении, собственно, всего Средневековья) обладали не одни только крупные землевладельцы, но и состоятельные, и средние крестьяне. Границу между свободными и несвободными приходится проводить не совсем там, где мы привыкли, ибо эксплуатация труда рабов и вольноотпущенников, равно как и наемных работников, получила широкое распространение и в среде крестьян.

Все это не могло не придавать облику средневекового крестьянина такие черты, которые в сумме самым существенным образом отличают эту фигуру от фигуры русского мужика XVI–XIX столетий. Комментируя содержание “Майера Хельмбрехта”, кое-кто из советских литературоведов, вдохновленных идеей классовой борьбы, в свое время умудрился узреть на страницах этой поэмы кровавые отблески Великой крестьянской войны в Германии. Предположка, лежащая в основе подобных рассуждений, заключается, видимо, в том, что движущим стимулом в феодальном обществе, как и в обществе капиталистическом, было максимальное выкачивание прибавочного продукта. Но не допустимо ли иное предположение, каковое я вовсе не склонен абсолютизировать, но вместе с тем не полагаю возможным сбросить со счетов?

Моя гипотеза заключается в том, что медиевисты имеют дело с обществом, экономика которого обладала существенными особенностями. Основой хозяйственной жизни служило простое воспроизводство, нацеленное на обеспечение элементарных потребностей населения. Но если вдуматься, что представляли собою эти потребности, то мы увидим: в состав продукции домохозяйства включался наряду с необходимыми для него жизненными средствами также некоторый “избыток”, предназначенный для удовлетворения таких социальных потребностей, как оказание гостеприимства³⁰, регулярное участие в пиршествах и обмен дарами. Ибо это аграрное общество могло нормально функционировать лишь прибегая к указанным формам социального общения. Иными словами, те формы социального общения, которые с современной точки зрения могут расцениваться как факультативные, избыточные и необязательные для функционирования хозяйства, на интересующей нас ступени общественного и культурного развития представляли собой обязательные и жизненно важные его условия. Этим-то и объясняется, по-видимому, повышенное внимание имеющихся в нашем распоряжении текстов к дару и пиру. Эти институты суть важнейшие узлы межличностных связей. Обмен дарами, происходивший, как правило, на пирях, был одновременно и наиболее принятым способом перераспре-

деления продуктов, и, главное, средством установления и упрочения мира, дружбы и взаимной поддержки.

Для того чтобы несколько яснее представить себе природу этого общества и поведение его членов, следует хотя бы вкратце остановиться на еще одном явлении. От эпохи викингов (VIII–XI вв.) сохранилось огромное количество кладов, разбросанных как в самой Скандинавии, так и в соседних странах. Ныне, как кажется, историки уже не придерживаются точки зрения, согласно которой обладатели сокровищ прятали их в беспокойное время для того, чтобы впоследствии воспользоваться ими. Ведь многие из этих кладов были спрятаны таким способом, который заведомо исключал их “востребование”. Если часть сокровищ закапывали в курганах или в потаенных местах, то другие топили в болотах или на дне рек и морей. “Сага об Эгиле Скаллаграмссоне” повествует о том, как этот скальд, предчувствуя приближающуюся кончину, схоронил в потаенном месте сундуки с серебром, в свое время полученным от английского короля, и умертвил единственных свидетелей – рабов, которые помогли ему спрятать его сокровища. Отношение к драгоценным металлам и изделиям из них – кольцам, гривнам, застежкам для плащей и т.п. – можно объяснить только при отказе игнорировать уверенность этих людей в том, что принадлежавшие им материальные ценности воплощали некоторые присущие им качества, что обладание сокровищами служило гарантией “успеха”, “удачи”, “везенья” того, кому они принадлежали. Между индивидом и богатством, которым он обладал, существовала, по их убеждению, теснейшая связь, и эта связь сохранялась и после смерти человека. В сагах и легендах упоминаются погребенные в курганах покойники, восседавшие на собственных сокровищах, оберегая их от возможных посягательств. Отношение к богатству, представления о судьбе, о смерти и потустороннем мире неразрывно переплетены в этом сознании. Все вещи, от оружия до сокровищ, выполняют определенные символические функции.

Обо всех этих явлениях мне неоднократно приходилось писать более подробно, и здесь я возвращаюсь к ним, собственно, для того, чтобы читатель по возможности отчетливо представил себе своеобразие цивилизации, которая, несомненно, отнюдь не ограничивалась пределами древнескандинавского культурного круга. Но в других регионах Европы она в силу ряда причин может выступать перед взором исследователя в лучшем случае отдельными бессвязными фрагментами, в то время как на Севере нам легче опознать ее общие очертания³¹.

Средневековая европейская цивилизация отнюдь не исчерпывается своей феодальной ипостасью. Не подвергая ни малейшему сомнению существование отношений, которые выражались в ленном

строго, вассалитете, равно как и в разных формах крестьянской зависимости от “благородных”, вместе с тем едва ли правомерно игнорировать те формы человеческого общежития, которые выходили за рамки феодальных структур. Важно обратить внимание на *социальную многоукладность* средневекового мира. В этом последнем ряду с феодальными военно-политическими и правовыми структурами были широко распространены рабство и вместе с тем – наемный труд. Особую роль в функционировании и трансформации общества играл, разумеется, город, природа которого по своему существу весьма далека от феодализма. Но город средневековой эпохи – это особая важная тема, на которой следовало бы остановиться отдельно³².

* * *

Я хотел бы завершить этот очерк личным впечатлением, вынесенным мною лет пятнадцать тому назад, когда мне впервые удалось побывать на скандинавском Севере. Мои норвежские коллеги из университета в Тронхейме любезно предоставили мне возможность не только побывать на поле Фростатинга – месте древнего народного собрания в северо-западной Норвегии, – но и познакомиться с природной средой, в которой жили хуторяне в этой части страны. Мы оказались на вершине холма, где тысячу лет назад находилась усадьба одного из тронхеймских предводителей, упомянутых в “Круге Земном” Снорри Стурлусоном. Этот хутор на много миль отстоял от хуторов других бондов. Здесь я впервые полностью осознал смысл слов Тацита о привычке германцев селиться поодаль один от другого. Это рассеянное по обширной территории немногочисленное население действительно “не терпело соседства”. Если между отдельными домохозяевами и существовали определенные связи, то они выражались преимущественно в охране традиционного права³³, но отнюдь не в каких-либо общинных распорядках.

Стоя на вершине холма, в недрах которого археологи обнаружили следы раннесредневекового поселения, я смог воочию представить себе, что такое “архаический индивидуализм” германцев и скандинавов.

В отличие от тех медиевистов, интересы которых концентрируются на вассально-ленных отношениях, на росте церковно-монастырского землевладения, на *incastellamento* (“озамковании”) и подобных бросающихся в глаза явлениях, я хотел бы подчеркнуть необходимость изучения того крестьянского мира, который, будучи материальной основой всех этих феодальных феноменов, отнюдь не поглощался ими. Пред нами иной, глубинный пласт социальной действительности, жизнь коего подчинялась специфическим тра-

дициям и правилам. От этой “Атлантиды”, бóльшая часть которой не получила и не могла получить адекватного отражения в дошедших до нас источниках, сохранились, собственно, лишь фрагментарные упоминания. *Audiatur et altera pars*. Я убежден в том, что давно уже настало время обратить серьезное внимание на эту сторону средневековой жизни³⁴.

¹ Reynolds S. *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*. Oxford, 1994. Рец. И.В. Дубровского см.: *Одиссей: Человек в истории*. 1997. М., 1998. С. 313–319.

² Гуревич А.Я. “Феодальное Средневековье”: что это такое? Размышления медиевиста на грани веков // *Одиссей: Человек в истории*. 2002. М., 2002. С. 261–294.

³ Die Gegenwart des Feudalismus. Présence du féodalisme et présent de la féodalité. The Presence of Feudalism / Hrsg. N. Fryde, P. Monnet, O.G. Oexle. Göttingen, 2002.

⁴ Kuchenbuch L. “Feudalismus”: Versuch über die Gebrauchsstrategien eines wissenspolitischen Reizwortes // *Ibid.* S. 293–323. Kuchenbuch, в частности, подчеркивает тот несомненный факт, что понятие “феодализм” приобрело идеологическую и политическую негативную оценочную окраску уже со времен Великой Французской революции, официально отменившей “Старый порядок”. Что касается новейшей историографии, то ряд ее представителей предпочитает вообще избегать использования понятия “феодализм”. Оценка современного состояния вопроса чрезвычайно затруднена непрерывно нарастающей численностью исследований. По словам Kuchenbuxa, пять тысяч ныне работающих медиевистов публикуют до тысячи монографий и десяти тысяч статей ежегодно... Тем не менее в этом все разрастающемся потоке выделяются отдельные труды, порождающие “научный переполох”. К такого рода научным событиям относится книга С. Рейнольдс “Фьефы и вассалы”, которая – при известной ограниченности ее критической аргументации – поставила под сомнение ряд казавшихся устойчивыми и общепринятыми подходов к проблеме феодализма (см.: *Ibid.* S. 304, 311). Как бы ни оценивать вклад Рейнольдс в дискуссию о феодализме и сеньориально-вассальных связях, она, как мне кажется, открывает новый этап в этой дискуссии, и то, что И.С. Филиппов отделяется от труда Рейнольдс немногими пренебрежительными замечаниями, не представляется мне наиболее адекватной реакцией. См.: *Филиппов И.С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье. Проблема становления феодализма*. М., 2000. С. 72.

⁵ *Feudalismus – Materialien zur Theorie und Geschichte* / Hrsg. von L. Kuchenbuch in Zusammenarbeit mit B. Michael. Frankfurt a. M.; B.; Wien, 1978.

⁶ *Kuchenbuch L.* Op. cit. S. 322.

⁷ См. ст. в наст. сб.: *Дубровский И.В.* Как я понимаю феодализм. В несколько измененном виде эти же соображения И.В. Дубровский воспроизводит и в своей ст.: *Феод* // *Словарь средневековой культуры* / Под ред. А.Я. Гуревича. М., 2003. С. 561–567.

- ⁹ "Qu'est-ce que la féodalité? Ce fut d'abord une disposition d'esprit": См.: *Duby G. La féodalité? Une mentalité médiévale // Hommes et structures du Moyen âge. P., 1973. P. 110.*
- ¹⁰ Человеческое достоинство и социальная структура. Опыт прочтения двух исландских саг // *Одиссей. Человек в истории. 1997. С. 5–30.*
- ¹¹ См. об этом: *Мильская Л.Т. Светская вотчина в Германии VIII–IX вв. и ее роль в закреплении крестьянства. М., 1957.*
- ¹² См.: *Гуревич А.Я. Роль королевских пожалований в процессе феодального подчинения английского крестьянства // Средние века. М., 1953. Вып. 4. С. 49–73.*
- ¹³ См.: *Дары. Обмен дарами // Словарь средневековой культуры. С. 129 и след.*
- ¹⁴ *Davis N.Z. Дары, рынок и исторические перемены: Франция, век XVI // Одиссей. Человек в истории. 1992. М., 1994. С. 192–203; Davis N.Z. The Gift in Sixteenth-Century France. Oxford, 2000. К сожалению, мне остался пока недоступным сб.: *Negotiating the Gift: Pre-Modern Figurations of Exchange / Eid. G. Algazi, V. Groebner, B. Jussen. Göttingen, 2003.**
- ¹⁵ См.: *Гуревич А.Я. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М., 1967. С. 117–149.*
- ¹⁶ *Hyams P. Homage and Feudalism: a Judicious Separation // Die Gegenwart des Feudalismus. Présence du féodalisme et présent de la féodalité. The Presence of Feudalism. P. 13–49.*
- ¹⁷ *Coss P. From Feudalism to Bastard Feudalism // Ibid. P. 79–107.*
- ¹⁸ *Гранат И.Н. К вопросу об обезземеливании крестьянства в Англии. М., 1908.*
- ¹⁹ *Hatt G. The Ownership of Cultivated Land // Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser. København, 1939. B. XXVI. D. 6. S. 16–17.*
- ²⁰ Я уже не останавливаюсь на той роли, какую в новых расчистках земель под пашню играли церковно-монастырские учреждения, а отчасти и светские сеньоры.
- ²¹ Подробнее см.: *Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее средневековье. М., 1977. С. 125–149; Он же. Аграрный строй варваров // История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. М., 1985. Т. 1: Формирование феодально-зависимого крестьянства. С. 90–136. Противоположную точку зрения отражает глава: *Неусыгин А.И. Эволюция общественного строя варваров от ранних форм общины к возникновению индивидуального хозяйства // Там же. С. 137–176. Сравнительно недавнюю попытку Я.Д. Серовайского реабилитировать измышления Цезаря о кочевом быте германцев, а заодно и возродить "общинную теорию" едва ли можно считать успешной. См.: *Серовайский Я.Д. Сообщения Цезаря об аграрном строе германцев в соотношении с данными новейших археологических исследований // Средние века. М., 1997. Вып. 60. С. 5–36.***
- ²² См.: *Bloch M. La société féodale. P., 1968 (1 éd. 1939). P. 122–123. Ср.: Гуревич А.Я. Язык средневекового источника и социальная действительность: билингвизм в средневековой Европе // Сборник статей по вторичным моделирующим системам / Отв. ред. Ю.М. Лотман. Тарту, 1973. С. 73–75.*

- 22 См.: Гуревич А.Я. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. С. 93–117.
- 23 Здесь нет возможности рассмотреть вопрос о тесном взаимодействии субъекта-обладателя собственности и объекта его прав. Из ряда памятников той эпохи явствует, что качества индивида распространялись на принадлежавшие ему вещи, будь то оружие, сокровища, боевые кони или жилище. Наследственное земельное владение, в свою очередь, включалось в окружавшее человека “силовое поле”.
- 24 *Miðgarðr* – “срединная усадьба”, огороженное, обжитое и культивируемое пространство, противопоставленное Утгарду (*Útgarðr*), “пространству за оградой”, миру враждебных человеку сил.
- 25 См.: Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее средневековье. С. 252–274.
- 26 Майер В.Е. Уставы как источник по изучению положения крестьян Германии в конце XV – в начале XVI вв. // Средние века. М., 1956. Вып. 8. М., 1956.
- 27 *Algazi G.* Lords Ask, Peasants Answer: Making traditions in Late Medieval village assemblies // *Between History and Histories* / Ed. G. Sider, G. Smith. Toronto, 1997. P. 199–229. Я благодарен К.А. Левинсону за предоставленную мне возможность ознакомиться с переводом этой статьи.
- 28 О диалектике свободы и несвободы в средневековом обществе см. ст.: *Дубровский И.В.* Свобода и несвобода // *Словарь средневековой культуры*. С. 450–461.
- 29 См. подробнее раздел «*Tripartitio Christiana – tripartitio Scandinavica*. Опыт сравнения двух средневековых “социологических схем”» в раб.: Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее средневековье. С. 274–303.
- 30 См.: *Гостеприимство* // *Словарь средневековой культуры*. С. 120 и след.
- 31 Почти единственная попытка рассмотреть такого рода “peasant-based” social system в средневековой Европе (во всяком случае, попытка, известная мне) предпринята английским историком Крисом Уиккхемом в начале 90-х годов XX в. Отчетливо сознавая немалые особенности Скандинавии, он тем не менее и, на мой взгляд, совершенно справедливо отмечает, что подобные самодовлеющие крестьянские общности так или иначе могут быть обнаружены в самых разных регионах. Главное заключается в том, чтобы выделить их в качестве важной формы аграрного общества, существовавшего не только в период, предшествовавший генезису феодализма, но и сосуществовавшего с ним. См.: *Wickham C.J.* Problems of Comparing Rural Societies in Early Medieval Western Europe // *Transactions of the Royal Historical Society. Ser. 6. L., 1992. Vol. II. P. 221–246.*
- 32 Сосуществование и взаимодействие деревни с городом – универсальная черта самых различных цивилизаций добуржуазной эпохи. Тем не менее важно не упустить из виду следующую особенность средневекового Запада: на аграрное пространство была наложена довольно плотная сеть городских и полугородских поселений (давно отмечено, что, например, немецкий крестьянин, как правило, имел возможность на протяжении одного дня посетить близлежащий город и возвратиться домой). Мы не наблюдаем подобного ни в Византийской империи, ни в халифате, несмот-

ры на высокую степень их урбанизации. См.: *Rösener W. Die Bauern in der europäischen Geschichte. München, 1993. S. 45.*

¹¹ О гильдиях и *coniurationes*, создававшихся местным населением в интересах соблюдения мира, недавно писал О.Г. Эксле: *Oexle O.G. Soziale Gruppen in der Ständegesellschaft: Lebensformen des Mittelalters und ihre historischen Wirkungen // Die Repräsentation der Gruppen. Texte – Bilder – Objekte / Hrsg. O.G. Oexle, A. von Hülsen-Esch (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 141). Göttingen, 1998. S. 25ff.*

¹⁴ В данной статье не рассматриваются характерные черты народной культурной и религиозной традиции, часто определяемые в современной медиэвистике как “народная культура”. О последней см.: *Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.*

